



*От автора
бестселлера «По ступи
шага-верблюд»*

ФЛОРЕНЦИИ
*и черная
желчужка*

ИАНА БОРИЗ

Йана Бориз
Флоренций и
черная жемчужина
Серия «Ретродетективы Йаны Бориз»
Серия «Флоренций», книга 2

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73591698
Флоренций и черная жемчужина: CLEVER-media; 2026
ISBN 9785002526291*

Аннотация

Алевтина вскружила голову всему уезду. Барышня обедневшей фамилии искала выгодную партию. Однако поиски обернулись гибелью. В разгар жатвы кони приволокли из соседнего поместья ее растерзанное тело. Для полицейских чинов картина ясна: от девицы весьма жестоким способом избавился воздыхатель. Под подозрением бравый поручик – наследник немалого состояния и лучший друг скульптора Флоренция Листратова. Флоренций уверен, что подлинный злодей прячется где-то рядом, а причина гибели несчастной связана с тайной черной жемчужины, что была найдена Флоренцием при весьма странных обстоятельствах.

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	35
Глава 3	62
Глава 4	91
Конец ознакомительного фрагмента.	117

Йана Бориз Флоренций и черная жемчужина

© Йана Бориз, 2025

© ООО «Клевер-Медиа-Групп», 2026

*** * ***

Часть первая

Глава 1

Во времена, когда солнце светило ярче, а травы колосились гуще, когда небесный свод тесней приникал к земной тверди и оттого по утрам слышались голоса обитавших на нем пери, когда рядом с людьми жили необычные существа с птичьими и львиными головами, когда... В общем, в те времена в диких степях кочевало племя тобы. В его шатрах впервые увидели свет немало доблестных воинов, звонкоголосых сказителей и мудрых казиев, его скакуны состязались в быстроте с ястребами, про красоту его девушек слагали легенды и разносили от моря и до моря, его псы рвали на части не одних куниц да шакалов, но и медведей, его... В общем, как волчица выбирает себе любимца среди выводка, так и старейшины того рода отличали бахадура Кебека за ум, рассудительность и незлобивый характер. О пригожести же его лучше вовсе умолчать, потому что мало таких слов, что передавали бы ее без чрезмерной слащавости.

– Повезет той, кто станет спутницей такому доброму молодцу, – переговаривались меж собой замужние женщины и завистливо вздыхали.

Но Кебек не спешил обзаводиться семьей. Азартным

скачкам он предпочитал одинокую охоту, а девичьим песням – древние былины.

Как-то по осени отправился он верхом и с выученным беркутом в скалы, что о ту пору рыжели от отъевшихся лис. Однако не успел колчан опустеть и на четвертину, как зоркий глаз охотника разглядел вдали дымок. Кебек поехал к нему, через полчаса уже спешил перед убогой хижинкой, но не торопился без приглашения внутрь. Из-за приоткрытого полога неслась завораживающая мелодия. Путник слушал про облака – свидетелей человеческих клятв и предательств, про реки, которым известно больше, чем самому ученому из мужей, про барсов, чья хитрость соперничает с их силой.

Вдруг песня умолкла.

– Заходи, бахадур, гостем будешь, – раздалось из хижины.

– Доброго здравия тебе и мира твоему дому! – Кебек приложил руку к груди и поклонился, переступая порог. – Но как ты узнал, что я подслушиваю?

– Ты не подслушиваешь, а слушаешь. – Хозяином оказался седобородый старец с глубокими пронизательными глазами цвета новорожденной травы. – Если жеребец прибьется к чужому табу, его или возвращают хозяину, или пускают на мясо. Не так ли? А если приблудился не конь, а человек?

– Ты ведь Нысан-абыз? – догадался Кебек. – Прорицатель?

– Да, такое имя дали мне жители этих холмов. Спрашивай. – Старик снова взял в руки благородный струнный ин-

струмент, коего гость прежде не видывал в здешних селениях, начал наигрывать. – Наверняка тебя, как и прочих скитальцев, волнует будущее?

– Угадал, абыз. – Бахадур опустился на одно колено, снял с пояса связку белок, отделил три справные тушки, кинул рядом с хозяином хижины. – Вот плата за твое пророчество.

– Ты приветлив лицом, чист помыслами, нет алчности и злобы в твоём сердце. Доброта твоя льётся веселой песней из глаз, но... – Белобородый абыз задумался, провел морщинистой рукой по струнам. – Но я не вижу впереди у тебя светлой и... долгой дороги, Кебек-бахадур. – Он опустил взгляд. – Ты погибнешь из-за девушки. Ее красота подобна лучу солнца в ненастный день, ее стан тонок, как у пугливой газели, ее глаза полны обещаний, как стремительные родниковые струи. Но заманчивый узор ее убруса не приведет тебя к благополучной старости.

– А в рай приведет? – Кебек сдвинул на затылок бурк с рысьей опушкой, потер лоб.

– Да, в рай приведет. – Нысан-абыз нахмурился и заиграл заунывный мотив, в него вплелось предостережение.

Очаг погас, запахло терпкой полынью с нотками печали. Мелодия крепла, поднималась все выше, выбиралась через дымовое отверстие и неслась вверх, перепрыгивая со скалы на скалу, кружась вместе с листьями и состязаясь в стремительности с заскучавшим беркутом.

Кебек вышел из хижины провидца. Впереди расстиралось

пышное, пронизанное алой стрелой заката ущелье. «Зачем мне девушки, когда вокруг такая красота?» – подумал он и направил коня к родным кочевьям.

Минуло три зимы и две весны. Кебек снова отправился на охоту, прихватив с собой не только беркута, но и верного пса Джангира. Залив низовья, река выжила из зимних нор лисяных пестрых зайцев, добыча манила из-за каждого куста. Увлечшись, человек, конь, пес и птица ушли далеко от становища, бахадуру выпала судьба искать ночлега под чужой крышей. Со склона ближнего холма, что возвышался над излучиной, доносилось ржание и стук топоров, вился приветливый дымок. Бахадур направился в ту сторону, раздвинул ветви едва зазеленевшей ивы и... замер, как будто за живой ширмой увидел призрака, а не собиравшую хворост девушку. Высокая, луноликая, с мечтательными глазами, скользила она по берегу бурливого весеннего ручья. На голове возвышалась расшитая бирюзой девичья такыя. Из-под нее косы опускались до земли, в них пели серебряными голосами монетки. Ее тонкая спина состязалась в гибкости с молодым тальником, кожа белела горными снегами, губы алели сладкой ягодой... В общем, он прежде не встречал такой необыкновенной красавицы.

– Мир вашему аулу, – едва придя в себя, поздоровался Кебек.

Незнакомка подняла глаза, из них выплеснулась вселенская тайна. Обжегшись ею, охотник вскрикнул.

– Почему кричишь? Несчастье? – всполошилась она.

– Нет... Да... То есть нет. – Он вмиг вспомнил прорицание, хотел бежать, да ноги не слушались.

Девушка рассмеялась.

– Меня зовут Енли, ты ищешь ночлега, я провожу тебя. – Голос ее звенел хрустальными колокольчиками, ему подпевали украшения в волосах.

– Постой. А ты веришь, что на звездах живут человеческие души? – Кебек тонул во тьме ее глаз, и сердце его заполнялось невиданной доселе радостью.

– Может, и не живут. Но когда звезда падает, это точно означает чью-то смерть. – Енли повернулась, качнула головой и повела странника к кочевью.

Семь дней и семь ночей Кебек не находил в себе решимости покинуть гостеприимный аул, а на восьмое утро пошел к старейшинам просить руки Енли. Но в этот раз удача отвернулась от него: красавица оказалась обещанной старику-богачу из могущественных кипчаков.

– Это богатый род, а жених Енли – знатный и родовитый казий. Он дает выкуп, которого не видывала доньине Великая степь. Не тебе с ним тягаться, о благородный сын тобы, – ответил отец красавицы. – Но мы щедро наградим тебя и дадим в жены другую нашу дочь, что не уступает прелестью твоей избраннице.

Кебек безмерно огорчился, день померк, близкие горы направились и грозно сомкнули припорошенные снегом плечи.

Его беркут тоже поник, словно занемог, конь потерял подкову, верный пес Джангир беспрестанно выл, умоляя о чем-то или... В общем, все складывалось не к добру. Но влечение к прекрасной Енли оказалось сильнее предостережений, и несчастный влюбленный решил поговорить с ней самой.

– Ты согласна бежать со мной? Или хочешь жить в богатстве, спать со старым мужем на пуховых перинах? – спросил он напрямик.

– Нет, не хочу шелков и серебра. Ты мне мил. Если пожелаешь назвать меня женой, я готова сопутствовать тебе, хоть бы дорога наша вела на край света, – не стала лукавить Енли.

При этих словах сердце Кебека выпрыгнуло из груди и взлетело к сосновым верхушкам. А может статься, и выше. Но кто-то в тот самый миг увидел, как с небосвода сорвалась и покатила вниз звезда.

Как решили влюбленные, так и сделали: сбежали темной глухой ночью, затирая следы, обошли обжитые кочевья и поселились в небольшой расселине у подножия горы. Кебек и Енли зажили простой честной жизнью. Иногда им приходилось заменять поцелуями ужин, а иногда – обед, но ни разу не пожалели они о своем выборе.

Однако родичи Енли не простили самоуправства. Жених из рода кипчаков уже выплатил им половину выкупа, который теперь следовало вернуть с привеском. Аксакалы отправили гонцов к старейшинам тобы, приказав выдать беглецов и грозя в противном случае ссорой и междоусобицей. Со-

племенники Кебека недолго размышляли, стоило ли рушить из-за одного упрямца дружбу двух племен. Так молодежь оказалась перед лицом казиза. За их спинами толпился весь род, женщины прикрывали ладонями рот, дети показывали пальцами. Красавица Енли стояла с четырехмесячным малышом на руках, прижимала подбородком вольный конец платка, чтобы не отдавать его ветру. В ее косах все так же звенели серебряные подвески, но песня их теперь лилась тревожно, срываясь в плач. Мужественный Кебек приготовился встретить наказание, но он еще не знал, насколько суровым оно будет.

В общем, грозный судья, никогда не поднимавший к небу смоляных очей, проявил жестокосердие: за непослушание влюбленных ждала лютая казнь. На тонкую шею Енли накинули петлю, Кебек бросился к ней, но тут вокруг него тоже обвился могучий аркан, стянул плечи, кисти, щиколотки, бедра, обмотался вокруг молодой груди. Мать протянула толпе спящего малыша, но никто не желал взять его на руки. Напрасно она просила, умоляла слезами, уговаривала самыми жалостными словами. Женщины замыкались покрывалами и беззвучно плакали, мужчины отворачивались. Отец Енли сплюнул под ноги и ушел с майдана, а ее сестра упала казизу в ноги, моля о пощаде, но тщетно: вершитель правосудия не изменил решения, только позволил положить малыша на телегу с соломой, где тот и спал, посасывая во сне пухлый пальчик, подрагивая длинными черными ресницами.

Кебека и его красавицу-жену привязали к хвостам шестерки лошадей да пустили тех вскачь. Острый скальный клык вспорол нежный висок Енли, окрасился алым, она потеряла сознание, тогда бахадур выдохнул: его возлюбленная не будет мучиться, смерть придет к ней в забытьи как избавительница. Это добрая смерть. Самого же его терзало беспощадной стерней и камнем, но глаза не отрывались от любимого обреченного лица, а с губ не сорвался ни единый крик или даже стон, чтобы не разбить ее спасительного беспомощства.

Скакуны неслись, подгоняемые страхом. Вот они нырнули в овраг, обреченные покатались под копыта своих палачей. Через полчаса все завершилось: изуродованные тела кинули в яму. Говорят, что с неба в тот миг сорвались сразу две звезды. А малыш продолжал спать, малыша так никто и не взял...

* * *

Алихан закончил рассказ, и в салоне Елизаровых ажурной шалью повисло молчание, его тревожили одни лишь вздохи. На маленьком столике призывно рубинился хрустальный графин, на атласной козетке дремал рыжий кот – свидетель многих драм. Антон и Александра, дети помещика Семёна Севериныча Елизарова – самого заядлого конезаводчика на весь уезд, – принимали приятелей из местной молоде-

жи, чтобы рядовым порядком наладить их дружбу со своим дальним родичем по материнской линии. Тот прибыл не из степей, а из Санкт-Петербурга, где его отец служил кем-то по части азиатских владений империи. Их кровные узы с супругой Семена Севериныча терялись в четвертом или пятом колене, но у магометан принято считаться до седьмого, поэтому хозяйка Заусольского почитала Алихана за дорогого гостя. Ее сородич прекрасно изъяснялся на русском и владел грамотой, слухи доносили, что их семья принадлежала к степной аристократии. Впрочем, про родню Аси Баторовны всегда судачили как про богачей.

Теперь, закончив свою удивительную повесть, Алихан стоял у натертого до блеска рояля и победно оглядывал притихших слушателей. Расшитый шелковый халат едва сходил-ся на его крепких плечах. Спереди от ворота до подола ли-лись мотивами шнуры и косицы, листики и стебельки. Сза-ди, аккурат между лопатками, алел то ли цветок, то ли скры-вающийся среди стежков пернатый всадник; крылья осед-ланной им птицы плескались по плечам и рукавам, самые длинные перья доходили доверху и переползали на полочку, на ключицы. В вороте расчудесного одеяния белела сорочка с цветными оборками, снизу выглядывали шальвары синего сатина и мягкие домашние туфли с загнутыми кверху носами. На темени он носил замечательно крохотную шапочку – тюбетейку, сплошь затканную разноцветным бисером. Та-кой необыкновенный наряд затмевал убранство бело-голу-

бенькой гостиной, так что приглашенные неприкрыто любовались прежде всего им. Между тем и сугубая внешность у степняка обнаруживалась приметная: раскосые черные глаза, что кинжалы, мелкий прямой нос, гладкие смуглые щеки, темно-бордовые губы бантиком с тонкой ниточкой усиков поверх. В представлении обитателей Трубежского уезда Орловской губернии так выглядели восточные султаны в их сказочных шатрах. Вернее, не султаны, а принцы, потому что Алихану едва исполнилось двадцать. Голову он держал чуть наклонив, оттого взирал по-ястребиному, в лице же не прослеживалось никакой хищности, напротив, одно добронравие, а из недостатков – желание покичиться своей мужественной красотой и нездешним ярким опереньем.

– А это правда случилось или нет? – Сашенька Елизарова осторожно примостилась рядом с наглым котом.

На нее смотрели, и она это знала. Хозяйской дочери едва минуло семнадцать, ее отличала избалованность, коя чудесным образом отображалась во внешности: дикая лань с длинными ресницами над зеленым мерцанием, с матовой, даже на взгляд теплой кожей, непослушными темными волосами, удивительно неправильным и в то же время удивительно совершенным овалом лица. Она дышала непредсказуемостью и завораживала тонкими чертами тревожной, ненашенной красоты. Для маленького приема Александра выбрала муаровое платье под цвет глаз – ни дать ни взять царица дубравная. Вопрос ее звучал требовательно, и Алихан растерял-

ся.

– В наших краях считается, что все произошло на самом деле, Александра Семенна. – Его лукавый взгляд забегал под гладким, слегка выпуклым лбом.

– Хм... такой казус, – обронил Игнат Иваныч Митрошин. Он единственный не глядел на великолепное одеяние Алихана. Наверное, оттого, что сам пожаловал едва не в домашнем платье: простом сюртуке, льняной рубахе навывпуск и широких полосатых панталонах. В свои то ли двадцать пять, то ли двадцать шесть, да еще будучи холостым, он отъелся, потяжелел простоватым мужицким порядком и больше походил не на помещичьего сына, а на купеческого приказчика. Причина сего пренебрежения к внешнему виду крылась не только в несогласии с модными фасонами. Куафюра Митрошина напоминала пук соломы и окрасом, и формой. Он вроде пробовал с ней договориться руками уездного цирюльника, но волосы попались какие-то недисциплинированные – отказывались слушаться без помадок и сахарной воды, а на эти финтифлюшки у него не хватало старания. Лицом же Игнат Иваныч был обыкновенен, не хуже прочих: круглые серые глаза, прямой решительный нос, добротные усы. Подводила одна только лохматость. Когда же он отращивал косицу, щеки становились излишне толстыми, как две сдобные ватрушки, поэтому сеновал на голове выходил предпочтительнее.

Митрошин служил отечеству со рвением, даже геройство-

вал, однако пребывал разочарованным и не мог покичиться успехами – наверное, из-за недостатка средств на содержание. Доносили, что он не знал страха вовсе, однако и терпимости к чужим порокам не знал тоже. Как известно, в подобном амплуа непросто заслужить обожание. Сначала его определили на флот, там не задалось, потом перевели в артиллерию, где он ни черта не смыслил, потом в интендантство вследствие необыкновенной честности и бескорыстия. Игната без видимой причины чаще положенного отправляли в отпуск, и все думали, что пора бы уж в отставку, но он каждый год упрямо отбывал в полк, чтобы вернуться под отчую крышу не позднее трех месяцев.

На караулившей окно оттоманке зашевелился Флоренций Аникеич Листратов: хотел что-то сказать по поводу любопытной степной легенды, да по неведомой причине ступешелся, передумал. Он прибыл в родные места – село Полынное – всего-то нынешней весной. До этого семь лет, с осьмнадцати до двадцати пяти, учился трудной дисциплине ваяния в мастерской маэстро Джованни дель Къеза ди Бальзонаро в самом сердце далекой тосканской столицы. Опекунша его, Зинаида Евграфовна Донцова, приходилась кузиной Семену Северинычу, и воспитанник пестовался вместе с елизаровскими отпрысками, хоть и будучи недворянского корня. Ныне же он художник, не абы какой, а поцелованный музой. В это верилось с детства, и учеба подарила крылья, правда пока не раскрывшиеся. Флоренций следовал за своей звез-

дой и никуда не заявлялся без альбома и рисовальных углей. Вот и ныне, сидя в бело-голубенькой гостиной Аси Баторовны, он перескакивал карими глазами с Игната на свой планшет и обратно, правая рука что-то чертала, штриховала, терла хлебным мякишем. Это могло означать только одно: скоро досточтимое общество полюбуется изображением господина Митрошина во всей его растрепанной красе.

Самого Флоренция жуткие обстоятельства вынудили обстричь золотые локоны: по дороге домой он застал воочию, как молодой помещик Обуховский предал себя мучительной огненной казни. Ваятель полез спасать того из пламени, да не сумел, только обгорел. Теперь волосы отрастали, а жуть все равно не забывалась.

У сего примерного художника имелась поставленная перед самим собой задача – на каждом суаре рисовать не менее трех портретов. В другое время натурой служила опекунша, хоть и не без ворчания, а также ее челядь – та вообще усаживалась позировать с опаской и после долгих уговоров. Но каждодневные лица все изучены вдоль и поперек, с ними скучно. Собrania наподобие сегодняшнего награждали возможностью потренировать руку и глаз, он готовился к ним с тщательностью и предвкушал с сомнениями.

Этим вечером кроме давшего согласие господина Митрошина предстояло изобразить еще двух, пока неясно кого. Флоренций перебирал, угадывал проявившиеся в чертах характеры. Его взгляд притягивал Георгий Ферапонтыч Корт-

нев. Тот уже перешагнул в четвертый десяток, но жениться не помышлял. Он уступал ростом прочим гостям, но при замечательной военной осанке выглядел вполне казисто. Прикрываясь то ли отставкой, то ли бессрочным отпуском, Кортнев холил свои обширные связи, откровенно сибаритствовал и даже не пытался притворяться кем-то полезным. Он обладал обольстительной внешностью, за коей неустанно следил: напوماживал черные усики, клеил мушки, сурьмил брови. Кроме того, названный господин умел виртуозно стрелять глазами чудесного фиалкового цвета, а еще носил турецкую феску на обритой налысо голове и настоящую черкеску с галунами. Что и говорить, его портрет обещал выйти небудничным, но времени потребует более, нежели остаток вечера, много больше, чем у художника в наличии.

Вздыхнув, Флоренций переключился на нежные создания, поскольку с ними проще договориться, но дольше возиться. Дамское сословие трепетно к своему облику и готово ради его увековечивания на жертвы, то есть посидеть смиренно.

Барышни бурно переживали гибель степных возлюбленных. Томная и не в меру впечатлительная Глафира Сергевна Полунина украдкой вытирала слезы. В свои двадцать два она наконец-то обзавелась женихом и от особенных переживаний заметно похудела. Прежде наливная, тугощекая, теперь превратилась в поджарую. Серые глаза слишком часто заволакивались влажной пеленой; впрочем, это ей шло. Для нынешнего суаре она гладко причесала свои тонкие пепель-

ные волосы, оставив только редкую, прелестно завитую челку, чтобы прикрыть не вполне чистый лоб. Милое, но слегка глуповатое лицо портил нос уточкой, однако, коли жених уже сыскался, о том не следовало беспокоиться.

На роль будущего супруга барышни Полуниной записался некто Иван Спиридоныч Пляс – доблестный кирасирский поручик, высоченный деревянный молодец с редкими усами и сонным взглядом. На него пожалели цветов: все сливалось в единую тусклость. Но Глафира Сергевна находила его интересным и гордилась, что в скором времени станет госпожой Пляс. Их венчание наметилось на конец лета, совсем скоро. Потом молодых ждал полк где-то на окраине империи, поэтому сих господ предстояло потерпеть совсем недолго. Впрочем, касательно дальнейшей службы имелись кое-какие сомнения – не исключено, что ратные подвиги принесли господину Плясу не только шрам на переносице, но и небольшую деревеньку где-то в приграничье.

Взгляд Флоренция не удержался на невзрачном кирасире, соскользнул сам собой. Между тем, если избрать для портрета Глафиру, то потом придется стараться и над Иваном Спиридонычем. Оного не желалось.

Ближе всех к облюбованной художником оттоманке расположился Петр Самсоныч Корсаков – еще один родственник Елизаровых. Он, как обычно, жевал, склоняя гречишной головой над столиком с закусками. Отец его, Самсон Тихоныч, приходился дядей Семену Северинычу и Зинаиде Ев-

графовне, то есть сам Петруша делался им кузеном, но значительно, просто до неприличия младше годами. Ему исполнилось двадцать три, а тем уже за полста. По этой причине и помещик, и помещица грешили против правды и называли его племянником. Рыхлый, сонный и несметливый – таким получился наследник богача Корсакова. Изжелта-зеленоватые глаза ущербно умельчались на широком его постном лице, нос примостился картофелиной, бледный рот расплылся.

Флоренций уже сподобился прежде нарисовать Петра Самсоныча, нынче просто разглядывал. Как ни странно, но именно тот больше остальных обрадовался прибывшему Алихану и с первого дня не отходил от него. Степняк же, согласно своим традициям, видел родича во всех, кто так или иначе связан с домом мужа его пятиуродной тетушки, потому едва не лобызался с неуклюжим Петром.

– Давайте вернемся к привычным мотивам, господа. – Антон Семенович Елизаров, почувствовав перемену общего настроения, с улыбкой встал, снял нагар со свечи, разлил вино по бокалам. Будучи хозяином, он следил за тональностью в небольшой компании.

Тут бордовая капля некстати упала на белоснежную шелковую блузу. Еще бы чуть-чуть, самую малость, и пятно досталось бы алому жилету, так нет же – обязательно испортить непорочную белизну!

Единственный сын и наследник Семена Севериныча и Аси Баторовны уродился славным повесой. Он числился в

полку, но по ранению лечился в родной усадьбе. На самом деле никакой раны не наличествовало – ради красного словца он предпочитал так именовать падение с лошади. Антон картинно хромал и театрально жаловался, тешился вниманием публики и особенно дам. Его превосходная горбоносость добавляла лицу романтики, а смешливые карие глаза – сумасбродства. Обругав коварное винное пятно, он снова развалился в широком кресле нога на ногу, с трубкой в руке, хоть и не научился курить, а табаку в доме не водилось. Разумеется, Флоренций уже писал его портреты, и не единожды. То же касательно прелестной Александры Семенны.

– А есть ли прок в такой любви? Чтобы до смерти? – спросила Алевтина Васильна Колюга.

В ней все опасно приближалось к чрезмерности: огромные очи в непомерно глубоких глазницах, светлые, до детской прозрачной белесости, волосы, аккуратно заостренные скулы, безупречный профиль римской статуи. Она сидела аккурат против Александры Семенны, зеркалила ее красоту своей. Флоренций пригляделся внимательнее и понял, что сочетание глубочайших глазниц и смелых скул – выгодная находка матушки-природы.

Сашенька обращалась к ней на просвещенный манер – Тина, и Флоренцию очень нравилась подобная простота. Вроде между барышнями водилась дружба, хотя о каких приятельностях могла идти речь, когда одна – наследница прославленного коннозаводчика Елизарова, а вторая вместе с

братцем пожаловала на незначительное суаре в присланном за ней по широте души экипаже Антона? У Алевтины Васильевны оставалась надежда только на свою редкую красоту, что вскружит голову какому-нибудь достойному бездельнику приличной фамилии. Надо заметить, многие господа неподатного сословия заглядывались на ее изысканную белокурость, но почему-то никто не спешил отвести под венец. Наверное, все сплошь меркантильные: привыкли сначала считать приданое, а потом уже искать счастья. Что до портрета, то изображать ее представлялось трудной задачей – слишком много белого, мало цветного.

Братец Алевтины Васильевны не удался лицом: кривоват, с подергивающимся ртом, шишковатым носом. Такие же, как у сестры, глубоко посаженные глаза смотрелись на его лице inferнально. Будучи детьми разорившегося и рано скончавшегося то ли полковника, то ли ротмистра, Колюги сызмальства воспитывались у незамужних теток, а те уж не жалели сил на муштру. Став чуть взрослее, брат с сестрой поспешили сбежать из-под опостылевшей опеки: он поступил в полк, она устроилась компаньонкой к генеральше в обозе армии Третьей коалиции. Как это удалось – тайна за семью печатями. Наверняка не последнюю роль сыграл авторитет папаши, или необыкновенная прелесть юной Алевтины, или талант Алексея Васильича умело приврать. Впрочем, выбравшись за границу, молодой офицер сразу же разочаровался в военной кампании, а его сестра так и не при-

искала выгодную партию. Они пространствовали несколько лет по шумным европейским городам, не добыли удачи и решили вернуться домой, осесть. Движущей силой, направившей дорожную карету на восток, в родную сторонку, являлась, конечно, Алевтина Васильна. Девичий век короток, в двадцать барышне требовалось устроить судьбу. Притом Алексей Васильич с опаской и разочарованием отдавал себе отчет, что сестрица не удалась нравом. Нет в ней кротости, холодна, жеманна, слишком требовательна и не умеет скрывать опрометчивых надежд. Тем и отпугивала. Кавалеры чувствовали это и быстро исчезали из виду. Ей бы похитрее подойти, да не с того боку, а этак...

Услышав фразу Колюги про любовь и смерть, Анна Ферापонтовна Кортнева, сестра Георгия, закатила глаза и прижала к груди донельзя тощие руки. Ее вообще отличала необычайная худоба, да еще при маленьком росте: ключицы воинственно торчали из ворота, щеки впали, будто она все время сосала пастилку, для талии любой корсет оказывался велик. Тем не менее ее не оставляла всегдашняя энергичность, порывистость, сиречь щедедушность комплекции не мешала проявлять масштабную нравственную конституцию. В свои двадцать четыре года Кортнева успела обвенчаться, пожить счастливым браком и овдоветь. На самом деле она носила имя покойного мужа – Стародворская, но приятели прежних лет не привыкли к новому имени и величали привычным девичьим. Теперь она снова жила с братом в Малаховке в ро-

дательском доме.

Листратов побаивался подступаться к ее портрету ввиду вертлявости натуры.

Последний гость – Скучный Василь, господин лет тридцати пяти или даже сорока, – безнадежно сроднился со своим прозвищем. Он присутствовал на всех приемах и обедах, всегда что-то умно и гнусаво говорил, великолепно сверкал лысиной, но никак не мог отлепить от себя нелестного эпитета. Впрочем, уже и сам привык. Василия Аполлоныча Бойко, как его звали без шутовства, аттестовали как должностное лицо при высоком чине, но отчего-то он проводил все время в именин матушки и не казался озабоченным государственными либо военными делами. Рассказ Алихана про несчастных Енли и Кебека вызвал у него не сочувствие, но порицание:

– Неосновательным будет полагать, что причины сей трагедии сокрыты в одном лишь непослушании. Посудите сами. Отчего этот прекраснотелый Кебек не служил? С какой такой стати они не платили подати? На чьих именно землях проистекала сия Аркадия, ведь у всего имеются хозяева и им не с руки терпеть пришлых? Молодожены попросту не внедрены в систему общественного устройства, а при подобной диспозиции трудно ожидать одобрения и защиты. Они, попросту говоря, незаконнослушные, бунтари.

– Строго говоря, послушники знали, что их ждет наказание, – бодрым стряпчим выступил Алихан.

– Со всей очевидностью это доподлинно так: недаром они скрывались, – добавил Антон. – Но на мой вкус, лучшие мои товарищи, наказание чрезмерно: с них случилось бы изгнания.

– Не-ет, изгнанием не обойтись, там деньги замешаны, – вставил Игнат. – Где деньги, всегда до смерти недалеко.

– Так все же, – настаивала Алевтина Васильевна, – любовь до смерти? Есть ли именно что прок в любви до смерти?

– Кто же велит искать в любви прок? – тихо спросила Сашенька Елизарова.

– Кто? Да все, – желчно хохотнул Алексей Васильич. То ли ему хотелось потрафить сестрице, то ли подначить избалованную хозяйскую дочь.

Игнат Митрошин посмотрел долго и грустно сначала на Алевтину, потом на Александру, потом снова на Алевтину. Он ничего не сказал, но явно намеревался. Вперед снова выступил Скучный Василь:

– Позвольте, любить можно кого угодно и сколь угодно сильно. Между тем определенно существуют понятия общественной пользы, сиречь долга. Если бы у нас так жениться вздумали? Каково? Сбежали, обвенчались без родительского благословения, наплодили потомства без роду без племени? Инда уж и родословные потерялись бы.

– А разве оно не случается? – поинтересовался Флоренций, не поднимая головы от рисунка.

Готовенький Игнат уже лежал на подоконнике, после него художник все-таки избрал тошую Анну Ферапонтовну, ко-

торая давно желала позировать, но считала ниже своего достоинства напрашиваться. Он кратко предложил ей, получил довольное согласие, усадил напротив окна, приподнял подбородок, дал в руки праздную шаль. Госпожа Кортнева полностью завладела его вниманием, но все равно не выходило ничего путного вследствие ее неубывающей энергии: сия сударыня не умела смотреть в одну сторону, вечно скакала белыми своими глазами, дергала костлявыми плечиками и прихлопывала раскрытой ладонью по столешнице.

Художник изрядно утомился переделками и все чаще косился в сторону пестрого Алихана. Ему требовался непринужденный повод, чтобы испросить дозволения нарисовать того, а то ведь мог и обидеть ненароком. Неизвестно, какие регулы царят в его среде, без спросу лезть зазорно.

Тот же горделиво молчал, слушая, какую бурную дискуссию вызвала его замечательная легенда. Очевидно, на том и строился расчет. Растерзанные конями влюбленные – это не сказочка про трех сыновей и не Змей Горыныч с Бабой-ягой. От степной истории сущно пахло вполне реальной трагедией, с дымком походного костра и всхлипами болотной цапли. Небось Алихан об эту пору прикидывал, какова собравшимся на вкус такая любовь, с кровушкой. Слушатели-то все привычные к слащавостям, самое крайнее – прыгнуть в омут да утопиться. Неудивительно, коли степняк судит о них как об особах поверхностных: лощеных сударях и изнеженных сударынях, что готовы от легкого касания сва-

литься в обморок. А может, и никак не судит, просто хочет произвести впечатление. Тогда он и в самом деле павлин.

Флоренций замечал, как Алихан теплел взглядом, касаясь прелестной Алевтины, и не наблюдал в том никаких неожиданностей. Белокурая чаровница как раз во вкусе азиатских выходцев, среди их красавиц полно чернооких и чернокудрых, а такие – невидаль. На самого ваятеля ее чары не действовали, но он и прибыл не из степей, а из обласканной музами Тосканы.

Тем временем спор потихоньку разгорался из искорки в приличный костерок.

– Да-да, наш друг Флоренций прав, мсье Василь, – подскочил Антон. – Вокруг нас тоже полным-полно ополоумевших от любви. И они с рьяным постоянством сбегают из-под родительской опеки.

– М-да, случается... Что, увы, достойно сожаления, – парировал Василь. – Негоже сие поощрять. В цивилизованных обществах надлежит блюсти протокол, иначе рассыплется вся наша нравственная материя.

– Какой же протокол может наличествовать в любви? – опять удивилась Сашенька. Ее чудесные глаза уже не мерцали, а горели волшебным зеленым огнем, щечки разругались.

– Протокол, сиречь кодекс, обязывает отпрысков почитать своих родителей, – веско постановил Скучный Василь, еще раз подтвердив точность прилипшего к имени опреде-

ления. – На том и зиждется цивилизация.

За все это время Алихан не проронил ни слова, только внимательно смотрел, запоминал. Отчего-то представлялось, что он непременно выскажется и тем поставит точку. В безмолвии пребывали также Глафира Полунина со своим долговязым женихом, но им прощалось ввиду романтического статуса обрученных. Таким лишь бы любовь, хоть бы со смертной концовкой. Хвала Спасителю, дурманное сие состояние ненадолго и – Боже упаси! – не навсегда. Не вставлял реплик и Петруша Корсаков, но тот исключительно по причине набитого рта.

Каждый кивал или качал головой, подтверждая или отрицая приверженность общественным нормам или необоримым страстям. Впрочем, Игнат Митрошин умудрялся одновременно и кивать, и мотать из стороны в сторону. Он дважды порывался поддакнуть Скучному Василию, трижды – Сашеньке. В конце концов разрешился сумбурной фразой:

– Цивилизация есть благо, а не зло, но укрощение истинных чувств отнюдь не пристало причислять к сему предмету.

– Что вы имеете в виду? – озадачилась Анна Кортнева. Ей во всем требовалась ясность, будто она служила в войсках и получала на плацу команды. Ее выпад сопровождался яростной жестикуляцией, так что Флоренций сдался и отпустил ее поплавать в разговорах.

Место сестры занял прекраснодушный Георгий Ферापонтыч, выручил. Теперь художник не поднимал головы от план-

шета, одни глаза сновали вверх-вниз колодезным журавлем.

– Я лишь хотел... – стушевался Игнат Иваныч, – лишь хотел пояснить, что история сия возможная, даже вполне. Между тем все персонажи порицаемы и должны быть примерно наказаны.

– Наказаны? Так возлюбленные и без того уже наказаны! – удивилась Анна Ферапонтовна и презрительно фыркнула.

Она откровенно недолюбливала Митрошина за его неряшливость, непредметность суждений, присущую им догматичность. Между собой брат с сестрой называли того «сударем в шорах», будто он глядел в свернутый конусом картон для выпечки и видел вполнеба, вполнежизни. Справедливо ли они оценивали Игната, никто не знал, потому что Кортневы не имели привычки делиться наблюдениями.

– Ах! Речь идет вовсе не о просвещенных народах, а о дикарях. – Тина очаровательно вскинула ресницы, и тень их прошла легкой рябью по фарфоровым щекам. – Среди дикарей именно что неуместны все ваши умненькие и бесспорно привлекательные суждения.

– Алевтина Васильна права, – засуетился Игнат. – Там... здесь... Среди иных народов негоже исповедовать свои устои.

– Как же, по-вашему, я дикарь? – тут же выступил вперед Алихан. Вот она – его точка!

– Игнатка не то имел в виду, мой лучший Алихан, – вступился Антон, подскочив и тут же нарочито захромав. –

Он немного недружественен со словесами. Как ты думаешь, Флорка? Ты ж умник.

– Действительно, оный спор не имеет предметности, только обобщенную идею. – Флоренций протянул взор к Игнату, словно придержал того за локоть, спасая от дальнейших неуклюжестей. – Вовсе нет разницы, где и с кем произошла трагедия, да и произошла ли вообще. Решается иной вопрос: что важнее – долг или любовь?

– Долг! – в суровый унисон постановили Митрошин, Антон и почему-то Пляс.

– Любовь, конечно же любовь! – подлетели в воздухе легким пухом женские возгласы.

Листратов удовлетворенно улыбнулся:

– Как наблюдается из несогласия в нашем малом кругу, вопрос оный тягостен, и решать его каждому предстоит в одиночестве. В соответствии же с выбором воспоследует и действие. Оправданием может служить только личная мораль, никак не обществом принятая, потому как речь идет о счастии персоны, но не общества.

– Как-то непрелестно у вас вышло, – буркнул Георгий Кортнев, – счастье гражданина неразделимо со счастьем Отчизны, коя пестует сынов своих для службы именно что престолу и обществу, никак не любви.

– Ах, просто сие суждения недворянина. Различные сословия мыслят несходно. – Алевтина Васильна умело воспользовалась случаем уколоть Флоренция происхождением.

Она не почитала художника за ровню и не раз давала повод о том догадаться. Вот и теперь без деликатности поставила на место. Впрочем, он ни капельки не обиделся:

– Не смею спорить. Однако, когда некий сын своей отчизны избирает личное счастье в укор долгу, он делается нещадно порицаем. Когда же верх берут гражданский долг и устои, а между тем особа теряет смысл и ценность собственной судьбы, отечество никак его не восхваляет, не балует и не рукоплещет. Дескать, вот каков молодец. Просто съедает на завтрак вместе с яйцом пашот.

– Сиречь это его долг, – закончил вместо Листратова Василь. – За исполнение долга не предусмотрено ований.

– Ах, господа, вы увели разговор в другую сторону! – Алевтина со смехом откинулась на спинку стула. – Долг ли, любовь ли, а все одно просвещенные народы не снизойдут до смертоубийства. Ну заточат девицу в башенке, потоскует она с годик, поплачет, а потом выйдет за кого надо или отправится в монастырь. Вполне обыденный анекдотец. Нас же с вами покорила лютая казнь. Так что нет, господин ваятель, я не поддержку вашей миролюбивости. Все дело именно что в дикарстве.

После ее слов Кортневы заметно поскучнели: беседа чрезвычайно сузилась, с широчайшего простора морали протекла в мелкое русло единичной, притом чужой истории. Флоренций ни капельки не покорибился небрежением к собственным словам или умело скрыл досаду ли, обиду ли.

Между тем Елизаровы явственно огорчились резкостью барышни Колюги.

– Позвольте, Алевтина Васильна, тогда и я дикарь, – сухо обронил Антон.

Она посмотрела на него в упор, будто хотела заморозить, а после связать по рукам и ногам, унести в темницу. В этом долгом пристальном взгляде читалось многое невысказанное: что нет, Антон не дикарь, а приличный господин хорошей фамилии, что она просит у него прощения, если произнесенные слова чем-то задела, что ему нет резона на нее дуться, тем паче она так хороша собой, умна, образованна, широких суждений и вообще, что благопристойность не позволяет рыцарям ополчаться на слабый пол в защиту таких же рыцарей, пусть и дальних сродственников, что... Антон сдался. Он посмотрел на Алихана, но Алевтина Васильна не удостоила того ни говорящим сиянием своих глубочайших зениц, ни дежурным извинением, пусть даже из числа самых расхожих.

– Как-то душно стало к вечеру, – протянула Анна Феропонтовна. – Георгий, господин Алихан, не угодно ли сопроводить меня прогуляться по саду? Об эту пору там замечательно душисто.

– Мы тоже составим вам компанию, – с облегчением выдохнула Глафира Полунина и потащила к двери своего Пляса.

– Господа, прежде попробуйте этот удивительный десерт,

пока он окончательно не истаял, – запротестовал Петр Самсоныч Корсаков, указывая на блюдо с покривившимися розовыми башенками. Очевидно, те состояли из крема, который просел под атакой духоты, а пуще того – жаркого спора.

Ему никто не ответил. Сашенька перестала мучить кота, тихонько встала, подошла к Флоренцию и заглянула в его рисунок.

– Превосходно, – похвалила она насупленное изображение Игната, – точь-в-точь.

– Вы и вправду находите? – вскинулся художник. При ее приближении он успел встать, но не успел прикрыть все свои наброски, и теперь она могла лицезреть и карикатурно худую востроносую Анну, и сосредоточенно-высокомерного Георгия.

– Разумеется. Он просто как живой. А отчего вы не нарисовали Алихана? Разве не интересно?

– Я очень хочу, буквально жажду. Однако надо прежде заручиться его согласием на оное.

– Не изводитесь понапрасну, это я устрою.

– Премного благодарен. – Листратов слегка наклонил голову и покраснел. – Чудесный выдался вечер. Его скрасила беспримерная поэтичная история.

– Скрасила... да... Но мне что-то беспокойно.

– Беспокойно? Отчего бы?

– Видите ли, нас собралось тринадцать – несчастливое число. Мы с Антоном запомнили посчитать Петрушу, вот

так и вышло.

Флоренций шепотом перечел присутствующих: брат и сестра Кортневы, брат и сестра Колюги, сами хозяева, Глафира с женихом, Петр, Игнат, пестрый Алихан, Скучный Василь и его собственная персона. Верно, тринадцать.

– Если угодно, я поспешу уйти – останется двенадцать.

– Нет, что вы! Уже поздно, слишком поздно.

Глава 2

– Я вовсе не желал быть понятым столь превратно... Однако вы очевидно и жестоко насмехаетесь надо всем, что есть в моей жизни ценного, достойного и... и... – Антон Семеныч Елизаров во время объяснений изрядно запинался, теребил длинными пальцами край дорогого офицерского шарфа, сучил вычищенным до блеска сапогом. Он сидел в наглухо зашторенной фамильной бричке – довольно несвежей. В другом случае блестящий молодой поручик, любимец дам и особенно их заботливых мамаш, предпочел бы модную открытую коляску или будничные дрожки, но сегодняшний случай выдался не для завистливых взоров сельской публики.

В экипаже находились двое и не наблюдалось кучера. В дороге не прозвучало ни слова, только ласковое понукание в адрес лошадей – пары чудесных елизаровских скакунов. Вороны красавцы с белой полосой, что начиналась звездочкой между ушами и заканчивалась тоненькой прядкой седины в хвосте, – новая порода, долгие годы пестуемая Семеном Северинычем. Статью его питомцы не уступали орловским: шея длинная, спина сухая, ноги крепкие. Пока еще ни один красавец не покинул конюшни в родном Заусольском поместье, но их уже ждали на выставках, а потом и на ярмарках. В этих конях состояло главное богатство дома, хотя любившие пошущукаться соседи думали несколько иначе.

В дороге Антон Семеныч саморучно правил на передке, старательно, но безуспешно выбирая неизрытую колею. Пароконная бричка под черным кожаным колпаком колыхалась, будто баба с ведрами без коромысла. Ее бока шептались с ветками, издавая шершавые звуки, иногда цеплялись за буйствующий чертополох, потом умолкали, прислушивались к стрекоту кузнечиков и опять начинали шепелявить под нежными березовыми пальчиками. Лес припас с избытком звуков, отчасти поэтому Елизаров-младший всю дорогу молчал. Когда они отделились равно от всех прилепившихся к берегу деревень и даже хуторов с пустошами, возница спрыгнул наземь и повел коней в поводу. Они углубились в чашу и замерли на полянке. Тогда он и пересел к своей спутнице, а следом уж завязался этот тяжелый и совершенно некрасивый, даже отвратительный разговор.

– Вы не должны думать, будто я... будто мне стало бы... вышло бы удачнее, умри вы на самом деле. Ни в коей степени так даже помыслить не могу. И вы должны понимать, что дороги мне и все, что было и есть между нами – лепшие, драгоценнейшие минуты и часы. Между тем... между тем мое положение тоже отнюдь не завидное, несвободное. Я в плену у своего сыновнего долга, и мне велено исполнять его безукоснительно. Манкировав же им, я опорочу себя в глазах общества и дорогих мне людей.

Его визави молчала, ее щеки и губы побледнели до мраморности, опущенные долу глаза пребывали в бездвижно-

сти. Она надела шляпку с густой вуалью, но, оказавшись в бричке, сняла ее и положила на сиденье. Теперь та вольготно развалилась между собеседниками и мешала.

Антон Семеныч продолжал косноязычить и чем дальше, тем сильнее становился противен сам себе. К тому же он ужасно хотел облегчиться, притом давно. Наверное, это от нервов. Хотя, возможно, что жбан кваса и кувшин домашней браги для храбрости сыграли не последнюю роль.

– Мне не по душе напоминать в который раз одно и то же, но ведь причиной наших... наших сегодняшних недоразумений стали ложные факты и следом за ними ложные выводы. – Он вытер со лба пот, платок сразу вымок. Все же не следовало так много пить перед долгой прогулкой и важным разговором. – Опять же, если я могу чем-то помочь, то ничуть не отказываюсь и постараюсь сделать все, что в моих силах, однако отнюдь не то, к чему вы... о чем вы... думаете.

– Вы желали сказать, к чему я вас принуждаю? – медленно проговорила она. – Пожалуй, да, принуждаю. И вам придется все же это сделать, а прочим поступиться.

Он в отчаянии опустил голову на скрещенные руки, бричка наполнилась глухим стоном. Шляпа его давно покоилась на передке, он загодя снял ее. Темные кудри ложились на лоб изящными завитками, добавляя в образ демоничности и порочности. Она поневоле залюбовалась его дерзким профилем, вздохнула и тихо заплакала.

– Что вы... что вы делаете? – вскинулся он. – Не время

для слез, это не нужно. Вы этим лишь усугубляете мою... мое нервическое возбуждение и общую... общую неуверенность, неустойчивость всей этой... Нам надо просто поговорить, очень серьезно поговорить. А вы... вы вынуждаете меня утешать вас, когда я сам... сам являюсь причиной ваших слез. Полноте! Вам угодно делать меня еще худшим подлецом, нежели на самом деле.

Она поняла, что слезы – самое верное оружие, и расплакалась еще пуще, еще жалостливей.

– Вы не подлец, вы... мы оба просто очень несчастные люди. Вы не хотите причинить мне зла, вы... вы не понимаете меня, я же понимаю вас.

Ей и в самом деле со всей неприглядностью открывалась истинная картина: молодой господин в нее влюблен, но папаша намерен женить его на титуле с завидным приданым. Неудачницам вроде нее самой дорога в содержанки, в монастырь или казармы, где кумушки одалживают друг у друга горстку мучицы. Вечная непролазная нищета, залатанные юбки, чужие комковатые тюфяки и заискивающий взгляд станут ее спутниками до самой старости, еще вернее – до погоста. Смириться с такой судьбой можно уродине или печальной серенькой мешаночке, но не украшению любого собрания, не острой на язык образованной барышне хорошей фамилии, не красавице.

Подобный камуфлет случался с ней, увы, не впервые. Будучи совсем юной, она имела несчастье обольститься крас-

норечием блестящего генеральского сына, и все у них шло к тому самому, но на ближних подступах развернулось вспять и истаяло вместе с дымчато-пыльным хвостом его кареты. После молоденький князь при беззаботном непросыхающем родителе одаривал ее беспримерными любезностями, записками и конфетами, однако вскорости сбежал под венец с другой – толстой и безобразной дочкой какого-то богатенького вельможи. И еще некто такой же, и еще... Всех уж не упомянуть, да и нет в том никакой нужды.

Прозревая, что пришло время меняться, она объявила себя просвещенной и приняла решение не выпускать повода жизнеустройства из собственных рук. Перво-наперво был проведен смотр: пересортированы титулы, имения и сановная родня; затем исследованы всякие летописные фолианты и паче них записные книжки с коллекциями пикантных сплетен. Стратегия вырисовывалась безотказная: выудить немолодого, неказистого, небедного, замутить голову, одурманить улыбками, пленить умными речами, возбудить жажду видеть себя ежечасно и ежеминутно, чтобы в очах поклонника плескались восторг и готовность отвести ее к алтарю.

Изрядно вооружившись, она предприняла первый штурм. Увы, итогом стали лишь стоптанные бальные туфельки и усталость от дежурных остроумий. Поиски приличного жениха не желали увенчиваться успехом. Но сие вовсе не означало, что надо смириться и не мечтать более о выездах и балах,

украшениях и сервизах, шелках и шалях, садовниках и кухерах.

Она поразмышляла над своими неудачами, но без слез, лишь стиснув крепко зубы. Результатом стало решение при- низить собственные ожидания. Теперь уже в прицеле ее лор- нета пребывали не титулы и миллионные капиталы, а про- стая достойная усадьба в глуши, с землей и сотней-другой душ, с пирогами по будням и проповедями по воскресеньям. И никакого высокомерия, боже упаси, никаких возвышен- ных надежд!

Увы, и здесь успех шел будто соседней просекой, не скре- щивался с ее собственной. И вот она вернулась туда, где все начиналось, – совсем снизошла до сугубой земляной плоти, следующий шаг вел уже в самую грязь. И тут воз наконец тронулся с места, правда для этого пришлось отринуть гор- дость насовсем и вытягивать объяснение едва не арканом, точно таким же, какой висел сейчас толстым плетеным об- ручем на стойке брички. Сцена с признанием удалась и вро- де бы уже пора шить подвенечное платье, но судьба опять увязла в трясине. Не иначе колеса у нее с грыжами или кони не подкованы!

Что ж... Если опять сдать, то отступить уже некуда, все засеки сожжены, дальше только ров с помоями. Настал час нырять в него с головой, сиречь разыгрывать подлинную тра- гедию. Самое горькое, что кроме заградительных сооруже- ний иссякали годы, а это ущерб вредоносный до крайности,

поистине невозполнимый. Она согласилась и со рвом, все одно что положила на плаху голову. Днесь уж не царевна, не погубительница сердец и судеб, а обреченная, побиваемая, трепещущая и алчущая защиты.

Жертвенная роль вполне ей удалась, сыгралась с вдохновением, не хуже любой другой, не без таланта и даже не без удовольствия. Об эту пору избранная мишень прибита к ограде коваными гвоздями и не соскочит, не убежит. И казалось, легкомысленному Антону Семенычу уж некуда деваться. Но вот он здесь, унылый и растерянный, мнет в руках ни в чем не повинный шарф, лопочет бессвязное, желает избавиться от нее, а жениться вовсе не помышляет. Ей и самой теперь стало противно, и самой хотелось разорвать их мужицкий, повидавший тягот аркан, но слишком много вплетено в него, ниточки – как жилы души, кожа – будто содранная с ее собственной спины.

– Да, я понимаю вас, – повторила она в задумчивости, вытирая слезы не платком, а заблаговременно снятой перчаткой. По замыслу, ему надлежало осыпать ее кисть поцелуями.

– Понимаете?! – воскликнул он в удивлении. – Понимаете?! С какой же целью тогда мучите так нещадно?

– Я не мучаю... я люблю. – Она потянулась к нему, не обращая больше внимания ни на шляпку, ни на вуаль.

Ему страшно захотелось прижаться губами к влажному, прелестному лицу, обо всем забыть. Но еще сильнее, просто

до последней невыносимости, гнала наружу потребность облегчиться. И тем не менее он не устоял, их губы соединились с трепетом и надолго. Пожалуй, слишком долго для полновесного жбана с квасом и кувшина домашней браги для храбрости.

– Любовь наша... наша любовь самая... она достойна... достойна стать воспетой в поэме, но разве... разве не велит нам долг послушания родительскому завету остановиться прямо сейчас и не множить бед? – шептал он.

– Ах, беды неизбежны! Вся наша жизнь – сплошная череда бед. Однако вы желаете, чтобы все беды целиком пали на мою голову, не на вашу?

– Это подло, я сущий подлец. Притом вы не даете мне времени что-нибудь придумать, как-то...

Между тем Антон Семенович совершенно не чувствовал за собой вины. Все завязалось по ее желанию и требовалось в первую очередь ей самой. Он же послужил орудием, не более того. Надо просто все объяснить, вспомнить с мелочами, с подробностями. Это свидание должно стать последним. Но прежде всего ему непременно и немедленно следует облегчиться, и сие деликатное дело более не ждет.

Уже не сиделось, только ерзалось, слова выползали через зубовный скрежет, кисть самопроизвольно сжималась и разжималась. Сначала вон из коляски – и в кусты, потом уже долгие увещевания и утешения. И притом он не мог втиснуться в страдательные речи со своим простым житейским

казусом.

– Все это можно и нужно исправить, – продолжала она тихим задушевым полусшепотом. – Мы не обречены, наша любовь не обречена. Сколь мало ни осталось мне на этом свете, я не смею роптать. Ах, лучшего конца трудно себе представить! А вы – вы все одно скоро освободитесь от меня и станете снова волочиться за девицами.

От ее кощунственного предположения по его спине побежали толпами мураши.

– Зачем... Зачем вы так! Я буду скорбеть, безусловно буду.

Она подняла ресницы, на них хрусталились крупные капли – такие крупные, что хотелось в них искупаться. Голос ее стал шепотом и совсем потерялся в шелесте ветерка:

– Не стоит оно того. Просто помогите мне.

– Батюшка не смилостивится, я уже толковал вам.

Антон почувствовал, что негодная жидкость в его чреве опрометчиво ломится наружу, прорывает все преграды организма и благочестия. Надо как-то выскользнуть, чтобы потом вернуться, но слова застряли в горле, и момент самый что ни на есть неподходящий.

– Ах, вы так говорите, оттого что я сирота! За меня некому заступиться!

– Вовсе нет. Я только говорю, что мне потребно время свыкнуться и посоветоваться с семейством.

– У меня нет друзей, все кругом враги. Я вынуждена сама

себя оборонять. И себя, и имя свое. Но у меня нет на то сил, а вы, вместо того чтобы протянуть руку, желаете оттолкнуть! – Она уронила голову ему на грудь и невзначай позволила обнять себя, Антон почувствовал, что сия минута грозит непоправимым.

– Простите меня, бога ради. Я не должен, но более не могу, – прохрипел он, высвобождаясь из ее лебедино-кисейных рук.

– Я тоже. – Она еще сильнее подалась к нему.

– Нет. Вы должны меня простить, но я не в силах больше терпеть... терпеть муку.

– О, эта мука меня просто уничтожает. И вы разделяете ее. Но отчего же вы тогда так жестоки со мной? И отчего вы побледнели?

– Я должен немедленно оставить вас для отправления... отправления природных потребностей. Прошу извинить. Я сей же миг вернусь.

Он выпорхнул из брички ретивым воробышком, что едва не угодил в силки, да чудом выпутался. С той же прытью помчался в чашу, но, зайдя за первый ряд деревьев, узрел, что они вовсе не такие уж плотные и густые для сокрытия его несвоевременных физиологических намерений. А в бричке она – нежное, бесподобное создание, которому невозможно видеть простой и постыдный акт облегчения мужской особи.

Антон Семеныч, скрежеща зубами, стал пробираться дальше и дальше, поминутно оглядываясь на черневший на

лужайке экипаж, чертыхался. Только совершенно потеряв ее из виду, он решил, что довольно, что расстояние вполне годится. Между ними стояли стеной березы, в их праздничной листве терялись звуки и время. На всякий случай ему пришлось выбрать ствол потолще, спрятаться за ним и довериться его бело-черной добропорядочности, дескать, не разболтает белкам и те не засмеют. Когда удалось разобраться с панталонами и тугая веселая струя ударила в лежавшую без дела корягу, он почувствовал себя хоть и сиюминутно, но по-настоящему счастливым. Извергаемая им лента золотилась и играла на ветру, он поневоле любовался ею и наслаждался кратким мигом освобождения. Вместе с убыванием жидкости прибывала уверенность в себе. Все казалось вовсе не безнадежным, больше придуманным от нервов и от скуки, как у барышень заведено.

Неожиданно сквозь веселую песню его облегчения донеслись другие звуки: ржание, рокот колес, крик. Что могло произойти? Внутри зародилось и быстро выросло до неприличных размеров беспокойство. Антон Семеныч постарался побыстрее развязаться со своим важным делом, и теперь оно не казалось таким уж приятным. Тревожные шумы все множились и крепли, слышался хруст ломаемых веток, новый крик – страшнее первого, отчаянный хрип коренного жеребца и рев, который тут же сменил топот копыт. Едва вернув на место панталоны, Елизаров заторопился назад, где осталась его упряжка, но успел увидеть только край дороги и на ней

удалявшийся зад брички. Он побежал, царапаясь и цепляя ветки, через несколько мгновений уже выпрыгнул на просеку, тут же споткнулся о кочку, полетел кубарем, вывалялся в пыли, но все это уже не имело смысла: кони понесли. Они рвали отчаянно и зло, будто напуганные волками.

Антон схватился за голову. Попробовал встать, хоть оно уже и ни к чему. Поврежденная нога тут же дала знать о себе, и он снова опал срезанным колоском. Дорога в этом месте описывала плавную дугу, на ней коляске не должно перевернуться, однако дальше будет резкий поворот и аккурат над обрывом. Вот там самая опасность. Оставалось только надеяться, что кони успокоятся прежде. Экипаж тем временем уже входил на полукружье, показал бочину, и Елизаров ахнул: на передке кто-то сидел, хлестал лошадей, не давая им сбавить ход. Глаз прищурился, тщаь разглядеть получше, и спина тут же похолодела: за упряжкой волочился удлиненный тряпичный сверток, в коем угадывалось тело.

* * *

Тот час молодой небездарный ваятель Флоренций Листратов тоже проводил в лесу: бродил в поисках вдохновения – иными словами, подходящего бревна. Оно требовалось для беседочной подпорки в виде женской фигуры, предположительно сказочной царевны. У него не имелось заказчиков и не имелось возможности охотиться на них вне пределов

Трубежского уезда, пока не истечет срок домашнего ареста, а это три бесконечных года. Чтобы не разленились руки и не закис дух, художник решил по мере сил украшать усадьбу своей опекуниши. Беседка с красавицами – только первый пропил на будущем шедевре, потом появятся лавочки с лучшими и кикиморами, фонарные вешалки с женоголовыми птицами, а самое заветное желание – собственноручно изготовить фонтан с русалками или нимфами, он еще не решил, с кем именно. Леса вокруг – не объять взором, пустого времени тоже, надо только перестать хандрить и грезить о несбывшемся. Даже не несбывшемся, а просто отложенном. В конце концов, удача его покамест не подводила и сетовать на нее непозволительно.

Он попал в заботливые руки Зинаиды Евграфовны весьма прихотливым образом. В ранней юности та проявляла склонность к прекрасным искусствам и горела желанием заниматься живописью. Судьба даровала ей учителя – некоего Аникея Воробьева, много старше своей питомицы, не больно пригожего, плешивого, неопрятного. И тем не менее все эти неказистости не помешали барышне Донцовой безоглядно в него влюбиться. Между ними не случилось греха и не прозвучали клятвы, потому как Аникей, увы, оказался обвенчан. Он расстался с супругой при туманных обстоятельствах и даже потерял ее след. От этого сделалось невозможным узнать, числилась ли та еще в живых, чтобы затем просить развода. Но он обещал юной Зиночке непременно

уладить эту досаду, а она верила, верила до тех самых пор, пока мудрой матушке – барыне Аглае Тихоновне – не удалось разоблачить их недозволенные взаимности, а суровому батюшке – барину Евграфу Карпычу – выгнать вероломно-го учительишку взашей из усадьбы. Тогда еще девица хотела бежать с ним, но вовремя была остановлена и водворена в постылую горницу.

Однако печали на сем не закончились: бедненькое сердце оказалось разбито вдребезги, и ни один из местных женихов не сумел собрать воедино его осколки, чтобы забрать себе вместе с приданым. Как ни грустно, Зиночка осталась в старых девах при маменьке и папеньке.

Через пять или шесть лет после всей этой несимпатичной истории в имение Донцовых прибыла посылочка – корзина из-под яиц. В ней лежал и посасывал пальчик младенец мужеского пола, плод последней страсти или просто забавы вероломного Аникея и актерки бродячего театра Анастасии Листратовой. Вместе с малышом сыскалось и слезливое письмецо, в котором неразумный папаша сообщал о своей тяжкой болезни, уверял, что в самом непродолжительном времени воспоследует его кончина, и умолял Зинаиду Евграфовну воспитать маленького Флоренция – его кровиночку, единственное о себе напоминание, безгрешный след на грешной земле и многая-многая в том же духе.

К младенчику прилагался также амулетик – аквамариновая фигурка, по поводу коей в семействе неоднократно воз-

никали споры. Боголюбивая Аглая Тихоновна видела в ней ангела, жуир Евграф Карпыч – красотку из языческого пантеона, Зинаида Евграфовна – старинный фамильный герб, из чего, в свою очередь, следовала принадлежность Анастасии Листратовой к дворянству. Прочая родня Донцовых умудрялась разглядеть то зайчика, то гордого льва наподобие египетских сфинксов, то просто законченный кусочек орнамента или родовую тамгу – половецкую печать.

Любопытную вещицу оставили при подкидыше, а его самого почему-то не смогли определить ни в приют, ни на службу, ни в послушники, а растили, любя и балуя, как редкий помещик балует родное чадо. Флорушке нанимали учителей, в том числе и по части живописи, поскольку мальчик унаследовал от непутевого родителя одаренность и тягу к художествам. Его всегда кормили с серебряной ложечки, одевали в новенькие очаровательные костюмчики, предоставляли сначала смиренных, а потом и норовистых лошадок, справные седла с чеканкой, украшенную самоцветами сбрую. Он вырос и возмужал, уверовав в свою удивительную звезду. Став же вполне взрослым и склонным к умозаключениям, молодой человек не мог не заметить, что история его отнюдь не рядовая. Отчасти он благодарил за это судьбу, отчасти – свой неразлучный амулет, коему дал имя Фирро.

По достижении осмнадцати лет безродного Флорку Листратова отправили обучаться живописи под патронажем предприимчивого флорентийца маэстро Джованни дель

Къеза ди Бальзонаро, однако вместо искусства смешения красок тот обучился мастерству ваяния, от которого ныне не предвиделось большого проку. В тосканских землях он провел семь замечательных лет и, вернувшись в Полынное по призыву Зинаиды Евграфовны, не поспел, к вящей печали, к смертному одру ни Евграфа Карпыча, ни Аглаи Тихоновны.

Добираясь домой, он умудрился впутаться в жуткую историю с самоотвержением молодого помещика Обуховского. Оказавшись наедине с телом, художник не удержался и сделал несколько зарисовок, которые по неблагоприятному стечению обстоятельств попали в руки местного капитан-исправника Кирилла Потапыча Шуляпина. За подобное осквернение праха полагались суд и наказание, однако в благодарность за помощь в раскрытии лиходейства Кирилл Потапыч уломал земских судей ограничиться тремя годами домашнего ареста. Таково недлинное жизнеописание Флоренция Аникеича Листратова, мещанина двадцати пяти лет от роду, златовласого, кареглазого, ростом более двух с половиной аршин, в меру крепкокостного, но и в меру субтильного, не наделенного ни горбом, ни хвостом, ни шестипалой стопой, ни ведьминым пятном.

С бревнами тем днем не задавалось, попадались сплошь искривленные или трухлявые, сучковатые или уже покусанные чужими топорами. Сочленять и склеивать царевну-королевну из нескольких кусков представлялось плохой идеей. Любой клей рано или поздно искрошится и выветрится, лю-

бой шип треснет или истлеет, любой шов наполнится влагой и раздастся вширь. Собранное из частей недолговечно, а ему хотелось оставить память о себе в бесконечной будущности: сколько уготовано усадьбе, столько и будут ее обитатели любоваться беседками, лавочками и фонарными вешалками.

Лес давно не умывался и потому не надел ярких праздничных одежд. Солнце сердилось на него за это, наказывало жгучими оранжевыми побоями. Под деревьями собирались тусклые комья до срока полинявшей листвы, будто зверь терял комки шерсти, обрастая новой. Деревья устали просить у неба воды вздетыми руками и опустили их, теперь те свешивались безвольно, безнадежно. Сухостой оплетали змеями ползучие растения, их клубки съедали целиком пни и молодняк, но перед старейшинами отступали. Многочисленная их армия явно вела завоевательную войну. Вот уже и пойман в сети можжевельник – похудел, бедолага, пожух. И шиповник весь в паутине хвостов, ягод на нем – что монеток во вдовьем кошеле. А сосна на поляне неприступна тварям, под ней одна рыжина, она вроде змеелова, что расстелил вокруг себя покрывало и заманивает на него ядовитых тварей. Но те не глупы, не охочи до приключений, им вполне сытно вдали от сухих колючих иголок.

Флоренций послушал птиц, они рассказывали пугающую историю минувшей ночи, в которой хищности встречалось более, нежели могло соответствовать истине. Привирали. Все, кто склонен к творчеству, хоть музыкальному, хоть

изобразительному, хоть литературному, любили присочинить, и он сам не исключение. Творить – это и означает создавать что-то новое, которое невозможно без вранья. И притом надо соразмерить его с сущностями таким хитрым образом, чтобы не перло вбок и сикось-накось, чтобы зритель ли, слушатель ли поверил, будто сие произведение – прекрасная правда. Несколько прекраснее всамделишной, той, коей угощает жизнь.

Например, когда он рисовал Георгия Ферапонтыча Кортнева, убавил нос и скулы, чтобы тот не походил на измельчавшего Кощея Бессмертного. Или прелестная Александра Семенна: ее раскосые глаза чудесны в яви, но на бумаге становятся лисьими, хитренькими. Их приходится увеличивать и немножко замыливать верхние уголки. Зизи на любом его наброске худеет, Семен Севериных, наоборот, пухлеет, чем приобретает достойной барина благообразности. И что? Разве это дурно? Нет! Оная ложь во благо, во имя вдохновения и созидания. Порицать ее глупо. Поэтому в полнокровном и метком русском языке есть ругательное словечко для неправды – кривда. Все искривленное надо изживать беспощадно и неумолимо: пусть оно на холсте, или в дереве, или в дому, в поступках, в скрываемых помыслах. Бороться надо с кривдой, где бы ни повстречалась. И на это не жалко сил, рвения, времени, да хоть самой жизни. По крайней мере, самому Флоренцию не жалко, такая у него нравственная конституция.

Он раздвинул кустарник, подошел к оврагу и заглянул тому в рот. Определелись обломанные зубы стволов, один из коих показался недурным. Теперь предстояло найти пологий спуск, чтобы не корячиться по осыпи, не сверзиться и не разодрать платье. Флоренций медленно побрел вдоль оврага, не особо таращась по сторонам и под ноги, поэтому через десяток шагов споткнулся, чертыхнулся, потерял равновесие и отпрыгнул в сторону. Он обнаружил себя у царственной купины лесной черемухи. Перед лицом полоскали потревоженными ветвями ее дети – молодая поросль. Художник отряхнул с одежды лиственную труху и направился дальше, держась незаметного в гуще овражного края. Дойдя до очередной преграды из ползучих вьюнов, он остановился, ища обхода. Тот начертался быстро, но пролегал меж двух толстых орешин. На одной зацепились клыками вездесущие зеленые плети... но не они одни. Среди малахитовой пестроты зоркий глаз заметил невзрачную серо-черную тесьму. Гадюка?..

Да! На стволе распласталась подлинная змея, не придуманная из диких растений! Он вгляделся с прищуром и пожалел, что в лесной чаще вольготно расположился полумрак. Точно! Вон и абрис хищной головы под толстым капюшоном резных листьев, и тонкий, острый хвост меж извивающихся стеблей. Но что делать: обойти или расправиться? Второе лучше, поскольку здесь, неподалеку от жилья, часто прохладжались люди, паче того – ребятишки. Однако из оружия у

него один только широкий нож и навыков охотничьих не так чтобы с избытком. Притом Флоренций знал за собой, что, начав битву, уж не отступится, станет преследовать змеюку до логова или... или до собственной кончины от ее ядовитого укуса.

Между тем змея выглядела как-то необычно: не вилась кольцами, чешуя ее не бликовала, не изгибалась наполненными плотью дугами. Вроде неживая. Может статься, больна? Тогда охота выйдет победоносной, но недолгой и неславной. Что ж... надо проверить. Он отыскал падшую ветвь, ободрал сучки. Теперь в его руке бугрилась ссадинами надежная палка. Затем вытащил из-за голенища нож, посмотрел туда, где змее следовало дожидаться скорого нападения... Ствол орешины пустовал, но за ним чудилось движение и даже отсвечивало ясным, безобидным.

– Кто тут? Если добрый человек, выходи, если нечисть, сгинь, – повелел Флоренций.

Голос его прозвучал громко и уверенно, птицы сразу приоткрыли, признав за человеком главенство, а на поляну, ступая совершенно беззвучно, вышла юная дева с распущенными по плечам льняными волосами, каким-то певучим, утекающим из фокуса взглядом, тонкая до призрачности, с невесомыми, покачивающимися при каждом шаге руками. Узкий светло-серый сарафан без пояса делал ее незаметной, по переду его тянулись голубенькие узоры во всю длину, книзу расширяясь, а на груди сходясь. Из-за них голубая блу-

за с широко распахнутым воротом казалась самой что ни на есть уместной, а все целиком получалось даже нарядным. В разрезе белела бескровная шея, на ней цепочка с кривеньким старинным колечком, вроде серебряным, в цвет сарафана. Голову ее оплетал ремешок, к нему с одного боку прицепилась пустая змеиная шкура – тоже серая с черным, как последнее и самое важное дополнение к образу, а с другого свисала неожиданно алая тесьма – пущенная в неизвестность стрела.

Он сразу узнал ее. Это Неждана – обитавшая в лесу полудева, которую Флоренций про себя называл мавкой, – такая же непонятная, пугающая и притягательная одновременно. Донцовский кучер Ерофей как-то назвал ее шалабудой и предостерег, дескать, знаться с таковой не резон. Да что с того? Ваятеля с молодых ногтей влекло запретное.

Однажды, примерно с месяц тому, ей случилось по пути с ним, шел дождь, все ждали Купалу... Тогда он подвез ее и отказался от необыкновенных цветов. Она вроде зазывала его на гулянья, но тем часом мысли направлялись совсем в иную сторону. Зря или не зря?.. В ту самую первую встречу Неждана рассказала о себе не много: жила в лесу с матерью, помогала с травничаньем, училась, знала, когда в каком растении сила, как ее сохранить и как применить. Однако местные не частили к ним, больше доверяли старым бабкам, коих в каждом селе по две или три, если не все пять.

– Здравствуй, – сказала она так, словно они расстались

вчера и вообще виделись каждодневно. – Что ж не заходишь?
– Здравствуй. – Он обрадовался ее внятной приветливости, дружелюбию, пропустил мимо никчемный вопрос и сразу начал рассказывать, за какой надобностью бродит по лесу. – Вот ищу себе материал, хочу изваять фигуру в полный рост. Желая подарить беседку своей дорогой опекунице, барыне Донцовой. Небось слышала о ней... и обо мне? – За несвойственным ему многословием Флоренций тщился скрыть обуявшую неловкость за реплику про доброго человека и нечисть. Какая-то детская присказка с напускной былинностью, будто он из позапрошлого века!

– Напугался? – Неждана по-прежнему без пристальности провела взглядом по его лицу и коснулась рукой змеиной шкуры. Та заколыхалась словно живая.

– Не буду скрывать, да. С превеликим испугом лицезрел оный натюрморт. Не сразу сообразил, что мертвая.

– Да она и не вовсе мертвая. – Под деревьями прокатился тихий смех, будто листва упала до срока. – А меня изваять не хочешь? Гляжусь я тебе?

Вопрос прозвучал так неожиданно и так откровенно, что Флоренций стушевался.

– Отчего же не хочу? Художник во всякую пору желает изобразить нечто красивое, а ты... а ты вон какая... пригожая... серый с голубым так к лицу тебе... даже украшение в тон...

– Правда? А не лучше ли было сюда бирюзу? У меня есть.

Ты скажи, ты ведь искусник, тебе оно видно.

Он растерялся от ее прямоты, но взгляд русалки в ту минуту как раз стал человеческим, осмысленным и острым. Ваятель не стал пускаться в пустые похвалы и проговорил с векомостью:

– Н-нет, пожалуй, не лучше. Серебро к гармонии ведет. Бирюза же цветом несходна с голубизной твоего сарафана. Она теплая и яркая, а узоры твои холодные и бледные. Пожалуй, серебро все же предпочтительнее...

– И мне так глянулось. Ну что, будешь ваять такую? – Она медленно подняла руки, развела в стороны, раскинула, покачалась.

– С превеликой радостью. Только в изваянии цвета все одно не различаются, так что в платье твоём толка большого нет. Главное – силуэт, и лучше бы его обрисовывать со всей очевидностью.

Неждана задумалась, вроде перебирала в голове наряды и не могла решить про силуэт и очевидность его.

– Не возьму в ум, – произнесла она после мешкотной минуты.

– Да и бог с ним. Лучше расскажи, за какой нуждой ты здесь одна и зачем она с тобой. – Флоренций указал на змею.

– Помогает мне.

– В чем же?

– В чем? – Ее глаза беспричинно потускнели, потеряли фокус, убежали ему за спину. – Ты ведь прежде хотел ба-

рышню изваять? Ту, что с темными волосами и при вороных конях с белой полосой. Люба она тебе?

– Неждана! – Художник протестуяще повысил голос. – Мы с тобой не таковы приятели, чтобы обмениваться сердечными тайнами.

– Брось. – Она снова рассмеялась. – Со мной можешь не затворяться, я много чего знаю.

– Много? О чем же?

– О всяких господах, о барышнях благородных – таких, что на них только облизываться, об их секретах и о том, кому какая дорога уготована.

– Изволь, мне до чужих секретов дела нет.

– Разве так оно? Не лукавишь ли? – Неждана рассмеялась и снова вернула взгляд из русалочьей ипостаси в чело-вечью. – Ну так пойдём?

– Куда?

– Ко мне. Будешь ваять меня.

– Нет, так сразу несподручно. Во-первых, не я к тебе, а ты ко мне должна прийти, у меня мастерская, там я буду тебя сперва рисовать, выбирать композицию, размер. Во-вторых, оно надолго, не с одного раза и даже не трех или пяти. Работать придется месяцами, так что приготовься и потом не сетуй. Но и передумать не моги на полдороге. Согласна?

– А чем же я отплачусь? – На ее чистый лоб вдруг набежала тень.

– Отплатишься? Да оногo вовсе не нужно. – Флоренций

растерялся, но тут же был повержен догадкой и поспешил ее проверить. – Или ты желаешь забрать изваяние себе? Я-то думал, оно мне останется.

Над ними остановилось проплывающее любопытное облако, попробовало заглянуть за завесу крон, а может стать, и подслушать. От его дуновения сделалось сумрачно, приятная лесная свежесть поднялась с колен, обняла и орешину, и кустарник, и людей. Сразу сделались слышнее шумы – птичье пенье, скрип сухой ветки, шорохи, тонкий голос далекого ручейка.

– Да все едино, что тебе, что мне. Купно будем лицезреть и радоваться, – махнула Неждана рукой, отправляя и словно подгоняя по воздуху очередную свою непонятную фразу.

Впрочем, художник распознал сокровенный ее смысл и вмиг насторожился, сделался холоднее. Она почувствовала в нем перемену, снова поплыла мавкиным своим взглядом – на сей раз в вышине, по верхушкам, примериваясь, от какой бы оттолкнуться и перепрыгнуть на облако. Флоренций по-прежнему молчал, и его собеседница закончила вполне буднично, вроде торговалась на базаре:

– А хочешь, я тебе отдарю колечком? Или иным украшением?

– Благодарствую, оно не ношу, – пробормотал он.

– А ведь врешь! Носишь на шее камушек, и дорог он тебе. Что ж, давай меняться. Я тебе свое, ты мне свое.

Флоренций против воли потянулся к запрятанному под

рубашкой амuletу, сжал пальцами замшевый мешочек, почувствовал твердое сердечко Фирро.

– Нет, мне мой от матери достался, я его ни на что не сме- няю. И ты права: он мне безмерно дорог. Так что давай по- временим толковать о цене, прежде наметим эскиз и прочее.

– Хорошо, – легко согласилась Неждана. – Так пойдем?

– Куда?

– Ко мне.

– За какой надобностью? Мне дерево надо выбрать, а ско- ро и вечер. Ты лучше помоги мне, подскажи, как спустить- ся в оный овражек. Я там заприметил подходящее бревно, авось сгодится.

К первому любопытному облаку подвизалось второе, а за ним и третье, теперь они протянулись невеликим караваном и тронулись с места, разочаровавшись в подслушанной бесе- де, в ее увлекательном продолжении. Они оставляли наеди- не ваятеля и русалку, его недоумение и ее странные фразы. Тут же будто и лесные звуки примолкли, насторожились или отправились вслед за небесными путниками. Неждана стоя- ла без видимого намерения двигаться с места, будто чего-то ждала. Флоренций повернулся к ней боком, сделал пригла- шающий жест. Тогда она произнесла медленно и с видимой неохотой:

– Какое дерево? Нет там никаких деревьев.

– Как же нет, когда есть?

– Нет. И оврага там никакого нет. То тебе почудилось.

Он хмыкнул, оставил ее за спиной и сделал несколько шагов в ту сторону, откуда пришел.

– Вот же. – Его рука протянулась в нужном направлении. –
Смотри.

Однако за кустами не проглядывалось никаких ран на теле густого леса, никаких обрывов и осыпей – только бугристая, как ненастный пруд, темная и тусклая листва.

Глава 3

Изготовление рисовального угля – дело пустяковое. Нужно побродить окрест и подобрать подходящих березовых веточек, чтобы не сильно толще или тоньше полувершка, без сучков и кривизны. Лучше припасти с избытком. Некоторые умельцы вдобавок снимали с прутков кожицу, почитали, что таким инструментом рисуется сподручнее, линии ложатся ровнее, изящнее, но Флоренций Листратов с ними не соглашался. Надеяться надлежит на талант, на поставленную руку, многочасовые экзерсисы, натуру, удачный свет и еще многая-многая. От уголька в оном непростом ремесле зависит совсем малость.

Веточки же, как назло, попадались корявые, с пустотами, из таких не выйдет достойного стержня – плотного. Флоренций набрал нужное количество за целую неделю, потом сушил, не единожды перебирал, многие нещадно отбраковывал. Нынче он тоже хотел пособирательствовать, купно с бревном для беседочной царевны, но потом случилась Нежданна, и все планы порушились. Впрочем, никогда не поздно...

Завершив дневную трапезу позже положенного, оттого в скуке одиночества, он приготовил дрова в дальнем конце, где дворовые палили птицу и смолили бочки. Запахи там парили невоодушевляющие, но неурочно зацветшая липа обещала

все поправить. Ваятель сложил принесенные чурбачки под треногой, сдобрил хворостом и вдругорядь отправился к поленнице. Вскоре у него образовался солидный запас топлива. На треногу он водрузил чугунок, заполнил по горлышко просеянным речным песком. В мягкое, прогретое солнцем песчаное нутро он аккуратно, по одной уложил отобранные прутики, тщательно утрамбовал, следя, чтобы промеж них оставались зазоры. Слои будущих углей разделились железными пластинами, что некогда служили кухонной утварью, а нынче вышли в отставку. Эти расплющенные и пролуженные круги – ценная вещь в работе, когда надо обжигать глину или смешивать краски на огне.

При делании углей главное – чтобы воздух не попал внутрь чугунка, иначе все выгорит. Флоренций плотно закрыл посудину очередной железякой, но не плоской, а слегка вогнутой, подавил на нее, постучал по днищу. Готово. Теперь только жечь и ждать. Песок раскалится, дерево обуглится. Березовый уголек – лучший помощник рисовальщику. Каменный уголь происхождение имеет точно такое же, только лежит под гнетом земляных недр не дни, а столетия, чем твердеет сверх меры, посему рисовать им нельзя.

Котелок умял все припасенное, не привыкшие лениться руки сноровисто расправились с делом и разожгли костер. Дрова загудели застоявшимся войском, услышавшим наконец боевой клич предводителя. Справа тянулись длинной шеренгой скотники и птичники, слева начинался барский

сад, сзади нависал дуб, а за ним уже и ограда; впереди, за аккуратными клумбами и песчаной подъездной дорожкой виднелась усадьба. Раньше Флоренций почитал ее милым гнездышком, а теперь и сам не знал чем: берлогой или тюрьмой.

Молодой ваятель сидел у костра, бездумно перебирал в голове замыслы. Маэстро Джованни всегда находил ученикам задания, и о сю пору непривычно остаться предоставленным самому себе.

Днем он твердо знал, что подпорка в беседке будет царевной, а к вечеру – нет, днесь русалка виделась лучшим, правильным решением. Если судьба расщедрится и доведет дело до фонтана, в нем воссядет сам царь Нептун и никто иной. Но про это еще бабка надвое и вилами по воде, понеже для хрустальных извержений нужна сложная и дорогая инженерия, чтобы вода устремлялась вверх вопреки земной тяге и чтобы не подмывала грунт. В Италии всяких бьющих ключей и водяных каскадов не счесть, но туда не заходят лютые холода. А в здешних местах зима имеет привычку злобствовать, сиречь может переморозить все многомудрости и вообще расколоть фонтан на части ледяным своим топором. Надлежало крепко думать, паче того – набивать кошель монетой и списываться с мастерами. Сам Листратов не той масти гений, ему не под силу. С деньгами же пока не достигнуто никакого взаимопонимания.

Он знал, что все эти рассуждения – сушая ложь. Душу щекотало желание изваять Неждану – и всего-то! Поэтому

царевну и сменила русалка. Между тем сие дурно, достойно порицания. Все-таки славно было иметь урок от маэстро и не пыхтеть собственными мыслями вроде перегруженной дровами печи. Что и говорить – славно, но то прелестное время минуло безвозвратно...

Уже вполне стемнело, над оградой ненадежно вещала кукушка, за усадьбой глухо шумела река. Из конюшни едва-едва доносились вздохи и редкое всхрапывание, птичник погрузился в безмолвие. Окрест кружили животные запахи, смешивались с березовым дымком, уводили мечты за околицу. Такими тихими, безмятежными вечерами совсем не хотелось спать, а только грезить. Мрак густел поодаль, а возле костерка резвились розовые и оранжевые мотыльки от прогоревших дров. Невдалеке хрустнула ветка под чьей-то ногой, из-за угла полетел маленький камешек. Флоренций удивленно покосился в ту сторону и притворился, что ему нет дела, – небось молодые дворовые всласть обжимаются, пока старшие дремлют. Стало томно и немножко завидно. Постукивание камешка по дорожке повторилось вместе с легким посвистыванием, и он со вздохом, не спеша поднялся, побрел-таки проверить, ибо на подступах к родной усадьбе не пристало пастись чужакам. Листратов смело шагнул в тень бревенчатой стены и вздрогнул, потому что чья-то рука протянулась и крепко взяла за локоть:

– Не кричи, – по слогам сказал Антон Елизаров.

– Тогда не хватайся в темняках, с испугу любой возопит.

– Ты же не возопил.

– Я тебя давно приметил, у меня глаз не как у оных, – соврал Флоренций и тихонько рассмеялся.

– Проведи меня к себе, – потребовал Антон. – На дворе безотрадно.

– Так проходи же как гость, что ж ты мешкаешь да скрытничаеть?

– Не как гостя, а тишком проведи. Чтобы ни одна мышь не учуяла.

– Изволь. Обогни все скотники и выходи к реке, оттуда по-над обрывом крадись к торцевой двери в мастерскую. Я затушу огонь и отворю. – Его весьма озадачила просьба, но расспросы и в самом деле лучше проводить не на дворе.

Антон исчез без слов, а Флоренций направился к колодцу, набрал ведро, вернулся к костру и щедро полил угли. Те сердито зашипели и прикусили кровавые язычки. От ограды отделился сторож, захромал в его сторону и тут же был отправлен проверить замок на дальнем сарае. В спину ему ниспослался окрик – спокойной ночи-де, побегу в мастерскую, там имеется некая нужда. Еще несколько минут ушло на второе ведро и окончательные разборательства с кострищем.

Когда Листратов с нарочитым шумом распахнул торцевую дверь, тихая тень уже поднималась от обрыва и через минуту приникла к углу усадьбы. Ваятель помялся, якобы отряхивая пыль и золу, пропустил Антона внутрь под прикрытием собственной возни. Затворив, он пожелал оживить пару

свечей, но гость остановил:

– Сначала послушай, а потом уж твори иллюминации.

Флоренций не любил беседы в темноте. Чтобы понимать собеседника, ему требовалось видеть лицо, мимику, глаза. Еще лучше – зарисовывать. Пока рука чертала, думалось не в пример лучше. Но в этот раз пришлось послушаться Антона, ощупью добраться до кушетки, усадить того и самому устроиться на соседней. Он замер в опасливом предвкушении, прошептал:

– Ну? Что стряслось?

– Стряслось, Флорка. Жуткая напасть стряслась.

– И что же?

– Я сильно виноват. – В темноте сверкнули, как будто вскрикнули белки его глаз.

– Пред кем?

– Пред... пред всеми.

Ночной посетитель путано и косноязычно пересказал сюжет, начав совсем издалека – как он в санях прибыл перед Рождеством домой и еще два месяца не мог вставать, ходить, тяготился костылями и нескончаемой скукой. С единственной целью переждать свою неудачу и дабы уменьшить вероятность сойти с ума, Антон собирал у себя приятелей из числа соседей, они играли, развлекались музыкой и чтениями. Алихан тогда еще не приехал, Георгий Кортнев с сестрой проводили зиму в Москве, так что не наблюдалось большой компании, все одни и те же лица. Среди прочих Алексей и

Алевтина Колюги сильно прониклись страданиями молодого офицера и навещали Заусольское чаще прочих, особенно сестра. Она как-то незаметно сдружилась с Александрой, и обе красавицы, темноволосая и белокурая, проводили много часов, развлекая Антона в его вынужденном затворничестве.

Нога понемногу срасталась, к весне уже позволяла выезжать в санях, и соскучившийся поручик много путешествовал по округе, а Сашенька с Тиной да кто-нибудь из конюхов сопровождали их верхом, или они втроем запахивались тяжелыми полостями и хохотали до упаду от попавшей в глаз снежинки, а дворовые весело катили за ними в розвальнях. Потом они пили в усадьбе чай, вели умные беседы про Наполеона и земельные реформы, про Вольтера и недостижимый императорский двор, но все равно все заканчивалось разговорами про любовь, пересказами соседских драм и исполнением слезливых романсов. Барышня Колюга при ближайшем рассмотрении явила живой ум и образованность, тонкий вкус и небесталанность, умеренную мечтательность и совершенно прогрессивные взгляды на природу человеческого общества. То ли по причине своих незаурядных достоинств, то ли просто оттого, что рядом не наблюдалось иных обольстительниц, но она пленила Антона Семеныча. Ее общество с каждым днем становилось все более и более желанным, пока не обратилось в предмет неукротимого восторга и самого страстного вождения.

Алевтина Васильна уподобилась нежному белокрылому

ангелу, под патронажем которого заживала его нога, но начинало саднить сердце. Это не значило ровным счетом ничего: молодой дворянин знал свое место – вернее, место, предуготовленное ему отцом, – и не собирался разменивать судьбу на мезальянс.

В этом абзаце своей повести Елизаров-младший кинулся в оправдания, совершенно надуманные, так что Флоренций попросил опустить излишки чувствительного толка и излагать по существу.

В краткой выжимке сердечных перипетий выходило, что неодолимое влечение к белокурой красавице все не оставляло Антона Семеныча, хотя здоровье его уже позволяло делать визиты, развлекаться и даже споспешествовать в многочисленных коневодческих хлопотах Семена Севериныча. Саша, добрая и понятливая сестрица, едва не каждодневно зазывала к себе подругу, но не имела досуга проводить с ней много времени, поэтому поручик и барышня часто оказывались в гостинной вдвоем, если не считать глухую старуху-кормилицу. Во время прогулок чуткая Александра тоже умудрялась отвлекаться беседами со встречными крестьянскими девушками или бабушками, лечила лошадей и собак, ласкала кошек, дарила сладости и куличи. Ее брат и наперсница опять предоставлялись друг другу, хоть и на виду, но все равно что наедине. С каждым днем он лишался покоя, а она все грустнела, томилась и истаивала ожиданием. Эта история грозила так ничем и не закончиться, оба это понимали

со всей обстоятельностью добропорядочных провинциалов. Однажды, когда щемящее мартовское беспокойство совершенно не давало уснуть, Антон попробовал заикнуться отцу, дескать, ему по душе кое-кто из небогатых местных барышень, на что получил жесточайшую отповедь. После этого Александра Семенна и Алевтина Васильна продолжили приятельствовать, но уже без выздоравливающего офицера. Разлука сделала печаль роковой, и тот стал искать встреч запретным путем, что, разумеется, сам же признавал непростительным.

Примерно в апреле, когда все в природе отогревалось, пробуждалось и зарождалось, между молодыми людьми состоялось объяснение: она плакала, он просил прощения, если дал повод обмануться. Нет, переступить через родительскую волю Антон считал для себя невозможным и никаких тому сообразных планов не строил. Он полагал сердечную занозу всего лишь занозой – не смертельной раной, – и намеревался залечить ее, как ногу или другой рядовой вывих. Притом Алевтина ему нравилась, и он этого не скрывал, но никаких клятв не произносил и обещаниями не крестился.

После того как приятель трижды повторил фразу про несказанные обещания, Флоренций догадался, что дела обстоят совсем худо.

Следующее скрытное randevu, отнюдь не рядовое, даже скандальное, рассказчик живописал в деталях и приглушенным шепотом. В тот раз они свиделись обстоятельно. Алев-

тине удалось улизнуть из дома якобы стряпать к Пасхе, на самом же деле – в летний павильон над прудом. На ней темнела простая шаль, скрывая господское платье и старательно завитые локоны, глаза мерцали глубокими омутами, губы пахли нежно и ванильно. Вызванный запиской Антон боялся, что их застанут вдвоем, ее же, казалось, не страшило совсем ничего. Он отдал ей свой плащ и, накидывая на плечи, почувствовал ее дрожь. Тонкая, но сильная кисть обхватила его запястье, приглушенный голос зазвучал совсем рядом:

– Так вы не намерены свататься?

– Простите, ваша прямота делает вам честь, однако...

За окном ухнул филин, отрезая эту минуту от всего радостного, от всего безопасного – навеки. Они не зажигали свечей, а павильон недавно убрали к празднику и разложили весенние цветы с таким головокружительным запахом, что все настоящее казалось уже ненастоящим, а несбыточное – сбывшимся.

Тогда несчастная Тина открыла потрясшую его тайну: она страдала неизлечимым недугом и готовилась в скором времени очутиться пред Престолом Господа нашего. Юная безвинная дева не желала уйти, не познав самого главного – счастья любви. Антон пошатнулся, но устоял.

– Вы ведь думаете обрести названное счастье, предварительно обвенчавшись? – спросил он с некоей долей коварства.

– А как же можно иначе?

– Поверьте, можно. Любовь и счастье не зависят от клятв или окропления церковной водой.

– Счастье не зависит, но зависит несчастье.

– Тогда нужно понимать, что мы ищем здесь в эту минуту.

– Я ищу едино лишь вас, вы же, по всей вероятности, спасения от скуки или... или простого минутного наслаждения. – Она выпалила эти невозможные слова, как будто плеснула на собеседника кипятком.

Он отпрянул, порадовался темноте, что скрывала испуг и покрасневшее лицо, повторил их про себя, боясь неверного истолкования. Время шло, барышня ждала ответа, а нужные фразы все не шли на ум.

– Я не так порочен и не так черств, я в смятении, но мысли мои чисты, – наконец в задумчивости процедил он. Да, в этот момент наследник Елизаровых стоял так близко к аналою, как никогда раньше. Всего один шаг – и зазвучали бы венчальные гимны.

Но Алевтина поспешила:

– Разве перед ликом смерти не должны мы слушаться заповедей Господа нашего?

– Слушаться? Пожалуй что должны. И не только пред смертью, но и всегда. Однако, зная про вашу хворь, я тем более не могу пойти на этот шаг. Сие ведь будет ложью, притворством. А вы достойны лучшего.

– Но я могу так и угаснуть без причащения таинств любви... – разочарованно прошептала она и крепко обняла его,

попирая все правила благопристойности.

Он почувствовал ее дыхание, ее стремительное сердцебиение, его горячие губы против воли нашли ее холодные и трепещущие, соединились с ними поцелуем и долго не имели сил отпустить назад в темноту.

– Это значит, что вы желаете объясниться? – спросила после долгой паузы Тина.

Теперь или никогда надлежало проявить твердость, и Антон ответил ей сквозь крепко сжатые зубы:

– Это не значит ровным счетом ничего, кроме того, что вы обворожительны, а я наглец и мне нет прощения. Пожалуй, мне лучше покинуть вас без промедления.

– Пойдите!

– Простите, у меня нет сил это терпеть.

– И у меня... у меня тоже нет на это сил... Если вам угодно стать моим тайным амантом – что ж, я готова. Только прошу: не оставляйте меня так.

– Что? – Он не поверил своим ушам. Ситуация представлялась в высшей степени эпатажной.

– Я хочу испробовать, что... что означает быть любимой на самом деле.

– На самом деле? – непонимающе пробормотал Антон, отступая назад. Ясно, что Тина сошла с ума, она в горячке, в ознобе, так и не отпустившие его руки подрагивают, голос срывается, а в словах своих она не отдает себе отчета.

– Ну, что же вы медлите? Я вовсе не спятила!

Вот как: утверждает, что не спятила, когда на самом деле все предельно ясно. Именно что спятила. Или таковы последние шаги ее страшного недуга – корезить рассудок? Неужто уж скоро?..

– Вам лучше остановиться, Тина. Вы будете после непередаваемо сожалеть о сказанном...

Она разразилась хриплым истерическим смехом:

– Не буду я ни о чем сожалеть! Я и без того уже сожалею, дальше некуда!

– И тем не менее... Вы не отдаете себе отчета в своих словах...

Против воли его тянула к ней могучая, необоримая сила. Сам велел прекратить, и сам же не имел воли отпустить... Не дурак ли? Хотя кто отвернется от постучавшей в дверь сказки? И все же...

– Да, именно так. Вы не ослышались. Сожалею о своей невинности более, нежели о скорой кончине!.. – дерзко выпалила она. – Или я вам неприятна, или вы не желаете моих объятий?

– Что вы, Господь с вами! Безусловно, желаю. Да и кто может не желать подобного! Однако вы явно спешите.

– Нет, я непростительно медлила. Выйди я замуж два года назад – все равно за кого! – у меня уже появилось бы дитя. Теперь же осталось только сожалеть...

– Но... ваша болезнь может оказаться вовсе не смертельной! Отчаяние ваше мне вполне понятно, и я сам готов ры-

дать вместе с вами, бесценная, бесподобная Алевтина Васильна, однако пристало ли терять голову?

– Увы, пристало. Потерять голову лучше, чем быть похороненной с несчастной головой. Так что: готовы вы или нет?

Она призывно распахнула и скинула наброшенный на плечи офицерский плащ, затем шаль, шагнула прямо в его сами собой раскрывшиеся руки. Антону ничего не оставалось, как осыпать поцелуями тонкие запястья, лицо, шею, ее всю. Он прижимал к груди трогательную, умопомрачительно прелестную обреченную деву, а она дрожащими пальцами растегивала на нем мундир.

Их грех случился там же – в летнем павильоне над прудом. Тина оказалась в чем-то мягком и ускользящем, как надежда. Он плохо понимал, где ее тело, а где ткань – все одинаково струящееся и манкое. Она стонала и заходила слезами вперемешку со смехом, он просто потерял голову и едва-едва не предложил бежать, чтобы обвенчаться тайком в какой-нибудь придорожной церкви. У нее светлым облаком распустились волосы, у него от нежности сжалась грудь и с трудом пропускала внутрь короткие вздохи. Ее ноги светились белизной в продолжении лунного луча, его страсть распалась раз за разом, никак не желала утомиться и заснуть.

Так они исполняли эту безумную ночь почти до петухов, а потом Алевтине все же удалось попасть на куличи. Никто не заметил, как горели ее щеки, потому что от печного жара покраснелись все девки и бабы, даже сильные и загорелые,

не то что бледная нездоровая барышня.

Что до Антона, он чувствовал себя тайным вестовым на передовой или полководцем после грандиозной победы. Если бы на следующее утро кто-нибудь удосужился спросить, отчего его взор сияет неприкрытым довольством, то мог бы и ненароком услышать правду, но никто не полюбопытствовал. Впрочем, домашние полагали, что их Антошке пристало радостное выражение по любому поводу. Через неделю любовники снова увиделись – на этот раз он попросту залез к ней в окно. Так и пошло. Главное – не приезжать на крикливом елизаровском скакуне, а брать неприметного рыжего или гнедого, чтобы погулял стреноженным по берегу, пока за кисейной занавеской творилась феерия. В мае прибыл Флоренций, в июне Алихан. Свидания с Тиной стали реже и оттого острее, сладострастнее. Антон окончательно выздоровел и в скором времени собирался вернуться в полк.

– Постой! – Листратов прервал его рассказ. – А чем именно страдает Алевтина Васильна?

– Чем? Я не спрашивал. Разве можно усомниться, когда человек сообщает, что смертельно болен и вскорости предстоит его отпевать?

Антон продолжил и повествовал еще не меньше часа. Он скупно описывал их свидания и весьма многоречиво свои сомнительные доводы в пользу спасения обреченной, умирающей. Это все Флоренций пропустил мимо ушей и уже заметно устал, когда речь зашла о последних событиях.

– И теперь она заявила, что ждет младенца, а мне все-таки надлежит посвататься.

– Вот так натюрморт! – вскричал художник, забыв о просьбе своего гостя сохранять его визит в тайне. – Что ж?.. Как оно?..

– Вот именно.

– А что же по поводу недуга?

– Недужит, но не ведает, когда придет старуха с косой. А до того времени надеется произвести на свет и оставить мне младенца.

– Уму непостижимо!

В мастерской на некоторое время повисла тягостная тишина. Мгла стала прозрачной, не смазывала силуэтов – наверное, заступила на караул луна. Хотелось отворить окно и подышать ночными ароматами, но тайна сей исповеди не допускала вольностей.

Жизнеописание самого Листратова, сиречь история чудесного появления в Полынном, заставляла его с неодобрением взирать на сюжеты с брошенными младенцами и умирающими родителями. В оных присутствовало что-то запрещенное.

Прятели долго помолчали об одном и том же, потом художник ответил на так и не прозвучавший вопрос Елизарова:

– Так что же теперь? Придется идти каяться к Семену Севериныху, а потом под венец.

Проговаривая это, он ждал вспыльчивости, необузданной риторики, но услышал нечто невообразимое:

– Не придется. Сегодня бедняжка Тина погибла, и меня в том обвинят со всеми надлежащими основаниями.

Антон начал бестолково вываливать все неприятности минувшего дня, Флоренций недоверчиво мычал, тер заросший щетиной подбородок и все порывался запалить-таки хоть единую маленькую свечечку.

На утомленное дневными хлопотами Полынное опустил-ся долгожданный покой под ручку с животворной прохладой. Замолчали песенные девичьи голоса, утихомирились бессонные сторожа, уговорились обождать до рассвета дворовые псы. Верная ключница Степанида торкнулась в мастерскую, мол, не оставить ли на ночь пирожка или еще чего сдобненького, а если он отправится пожелать спокойной ночи барыне, заодно и снес бы травной настойки. Художник сначала ответил ей невразумительным отказом через дверь, но после решил обставить все честь по чести: запер Антона, пошел на кухню и набрал полное лукошко снеди, несообразно наврав про ночное вдохновение. Об оном не могло идти речи, потому как по темени не можно ни рисовать, ни ва-ять. Потом он зашел к Зизи с самой легкомысленной улыбкой и какой-то едва живой шуткой, поблагодарил невесть за какие услуги Михайлу Афанасьича Семушкина, который го-стил тут на правах дальнего родственника, но все уже смек-нули, что тот по душе хозяйке, а она – ему. После сих беста-

ланных фокусов для отвода глаз Флоренций снова спустился на кухню: он запомнил присовокупить к закускам деревянные кружки и корчагу с квасом. Вообще-то с учетом нерядовых событий в жизни Елизарова, а может статься и всего уезда, не помешало бы запастись чем-нибудь покрепче. От приبلудившейся удачной задумки пришлось отказаться не без сожаления: Степанида зорко пасла поставец с наливками. Вся экспедиция заняла не менее получаса, и он тихонько отворил внутреннюю дверь мастерской, когда Антон уже запаниковал и приготовился бежать через окно.

В мастерской наличествовало два входа – из дома и снаружи, с торца усадьбы. Первый никогда не запирался, потому что по сути это помещение не более чем левое крыло. Пожалуй, сегодняшним вечером случилось впервые опустить на нее засов. Уличная дверь в новеньком, с едва обсохшими откосами проеме, конечно же, запиралась, но больше от холода и скотины. Сейчас на ней тоже покоился основательный засов, однако Антон попеременно искал глазами во тьме то ее, то супротивную.

– А вдруг кто зайдет? – Он принял из рук Флоренция лукошко, нащупал две кружки и калач, под ними крутые яйца, редис, мешочек соли, жидкую связку вяленой плотвички.

– Пустое. Кому оно надо?

– А все же? Я бы не желал сделаться замеченным. – Гость повторно обшарил покрытое соломой дно лукошка и спросил со вздохом: – Более ничего? Есть охота – жуть!

– На кухне можно разжиться, однако ты не желаешь быть замеченным, – подначил его Листратов, передразнивая интонацию.

На маленьком столике затлепа-таки свечечка, масляную плошку, с коей совершал вылазку, хозяин бережливо затушил. Неверное мерцание едва обозначило заготовки для будущих изваяний, в сумраке, как в воображении, они казались уже готовыми работами. Пока приятели закусывали, Антон продолжал поочередно кручиниться и оправдывать свою мужескую природу. Художник его не слушал, он пробовал представить картину трагедии, та же никак не желала складываться. Он тщательно собрал в ладонь яичную скорлупу, высыпал в плошку, где обычно держал деревянное масло, отряхнул руки и поинтересовался:

– Позволь, зачем ты вышел наружу и ушел прочь от брички?

– Я... я страшно захотел облегчиться. Не имел мочи терпеть.

– Понятно.

От стола к углу полетел тяжкий вздох. Вот из подобных мелочей обычно и ткались судьбоносные драмы. Он уже прозревал, о чем попросит тайный посетитель, и примерял, как половчее все устроить. На всякий случай уточнил:

– Ты намереваешься нынче заночевать тут?

– Конечно, тут. У тебя. Только тетеньке не говори. – Антон приблизил напуганные глаза, совсем круглые и черные,

что колодезный зев. – А завтра поутру, умоляю тебя, скажи к моим и разузнай все доподлинно. Там и будем решать.

– погоди. А ты будешь прятаться в усадьбе? Как же мы скроем оное от тетеньки? Да и Михайла Афанасьич сует нос повсюду.

– Нет-нет. спрячь меня на сеновале, в конюшне, где угодно. Я в твоей гардеробной посижу. Или здесь, в мастерской.

– Так ты ж опять испражниться захочешь! – Флоренций не выдержал и тихонько рассмеялся.

– Ништо! потерплю. И не надо смеяться, умоляю тебя.

В голосе Елизарова плескалось целое море отчаяния, его требовалось пожалеть, но почему-то хотелось как следует отстегать. Флоренций пока не поверил в смертоубийство, хотя история, конечно, скандальная сверх всяких допустимостей. Но какова же Тина! Она совсем глупенькая, выходит? Ведь все простые ходы давно разыграны, теперь не прошлый век: во Франции революция, в Американских Штатах независимое государство, российским самодержцем подписан закон о вольных хлебопашцах, в гостиных не смолкают разговоры о земельной реформе, что положит конец крепостничеству и всему старому укладу. В такие времена впору задуматься совсем о другом – большом и важном, а тут... Но все-таки Елизаров сидел напротив и мял в руках грязный шарф – значит, вечная мишень для дамских стрел еще вполне могла служить поставленным целям.

От долгого шептания у обоих приятелей пересохло в гор-

ле, ваятель разлил квас по кружкам, они пригубили, помолчали.

– Как я понимаю, теперь уже все тайное станет явным? – осторожно спросил хозяин.

– Еще как!

– Давай сверим все детали твоего натюрморта: мнимая болезнь – дерзкое соблазнение – порочная страсть – неожиданное дитя. Очень четкий и смелый расчет. Ты просто обязан был проиграть, но пока не изъявил желаний признать собственное поражение. Тогда возможная диспозиция такова... – Флоренций решил проговорить все с начала и до конца, потому что его гость от нервического возбуждения перепрыгивал с одного эпизода на другой и грозил вовсе потеряться на тропинках своих невнятных рассуждений. – Алевтина Васильна вознамерилась тебя заарканить, и, увы, ее стараниями оное свершилось со всей определенностью. Ввиду твоей неподатливости ей открылось, что сватов ожидать не приходится, и тогда сия предприимчивая особа решила устроить грандиозное разоблачение. Когда ты вышел из коляски, она попросту удрала и о сию пору готовит артиллерийский удар. Надо его как-то упредить, и пока я не вижу иного хода, кроме сватовства.

– Не готовит и не свершилось! Ничего не свершилось! Говорю же тебе: Тина разбилась, возможно насмерть, – зашипел Антон.

– Оного мы не знаем.

– Я видел своими глазами. Ты моим глазам не веришь?

– Прости, но я привык доверяться только своим.

– Эх, зря ты! Мы попросту теряем время. Разбилась – говорю тебе со всей определенностью. Кони понесли как очумелые, небось волки там рядышком или иной зверь. Так понесли, что никому не выжить.

– Понесли... Волки... А что ж те волки тебя не потревожили? Ты-то один да слабосильный, а лошади с бричкой – она задача посерьезнее.

– Меня не тронули... Да, меня не тронули, потому что не волки, а медведи. Медведь летом не нападает, да еще и ягоды в лесу с избытком.

– А волк, по-твоему, нападает?

– Ты разве забыл про наших белых волков? – Антон понизил голос. В темноте его глаза блестели пьяно и сердито. – То же не волки, а оборотни.

– Хорошо, пусть по-твоему. Но оборотни тоже тебя не тронули, а коней вспугнули. Отчего так?

– Они могли и не пугать, и медведь мог не пугать. Кони сами почуяли и понесли.

Флоренций задумался. Он не относил себя к знатокам звериных повадок, но что-то явно не сходилось. Когда в округу забредали волки или медведи, про них сразу начинали говорить в нескольких деревнях, остерегали девок, чтобы не частили по грибы, пугали подростков, не пуская в ночное. На то имелись охотники и прочие сведущие, кто мог опознать от-

метки волчьих клыков на найденной в кустах заячьей тушке или следы на сырой земле. Мужики привыкли соседствовать со зверьем, посему их зоркому глазу стоило доверять. Откуда же взяться хищности, если о том не пробежало и слушка?

– Ну пусть волки или медведи. Однако отчего же Алевтина Васильна не осталась внутри, коли лошади понесли?

– Она небось вывалилась.

– Как... как оное возможно? Для того бричка должна перевернуться или разбиться. Из колесного экипажа на ходу седоки не вываливаются.

– А она вывалилась! Наверное, хотела меня позвать, крикнуть, привстала, высунулась да не удержалась.

– Вот так натюрморт! Оно просто какое-то непостижимое трюкачество. Ранее подобного не встречал, особливо у барышень с их нарядами.

– Да мне и самому не до конца понятно... Особенно когда ты говоришь, твоими словами... в общем, как так могло получиться.

– Не только про оное идет речь. Ты сказал, что тряпье волоклось за бричкой. А если Алевтина Васильна выпала наружу, ей положено лежать смирененько. Зачем бы ей волочиться за понесшими конями?

– Правда... – согласился Антон. – Кто выпал, тот смирененько лежит... Но как бы то ни было, а я видел, что тряпье тянулось по дороге, именно тянулось, трепыхалось по кочкам. Я не бражничал и не сошел с ума, ты должен мне верить.

– Может, то и вправду волоклось некое тряпье, ветошь? А барышня сидела в экипаже или того лучше – правила им?

– Нет! Тряпья там не было, только аркан висел на дверце. Кроме того, тряпье по причине легкости не волочится, а летит. Тут же именно что волочилось, и глаза меня не обманули.

– Порой бывает, что глаза обманывают против воли, – задумчиво прошелестел Флоренций.

Огарок свечи угасал, краснота от него стелилась над столом, не доставая до собеседников, в темноте плохо различались сущие очертания, зато хорошо воображалось придуманное. Перед внутренним взором ваятеля встала дорога. Тот сплошь поросший молодняком кусочек он прекрасно помнил и редко туда заходил, потому что там не произрастало добротного дерева. Монастырка тоже не жаловала того места, огибала широкой дугой в отдалении. По этой дуге и мчалась бричка, больше нигде. Мог ли Антон, стоя в пролеске, разглядеть, что волочится позади экипажа? Вышло, что мог.

– Это все чепуха, Флорка! – Елизаров со стуком поставил пустую кружку и, испугавшись шума, тут же поднял, замер с нею на весу, заозирался. – Какая разница, как случилось, если уже случилось?

– Большая разница. Или тебе посвататься и все покрыть подвенечным убором, или готовиться к тяжелой битве.

– К битве. И вот еще, постой... Я про самое главное за-

памятовал... На передке брички будто кто-то был, хлестал коней. Я вроде узрел его, хоть и со спины, хоть и мельком: и кнут в руке, и мужескую кряжистость. Это здоровяк. Он захотел угнать экипаж, а она, бедняжка, выпрыгнула, да неудачно. Или он ее поймал, не отпускал.

– Совсем уж гимнастика... Поймал, не отпускал, а сам в то время хлестал коней. Семь рук у него, что ли?

– Верно... Это значит, что злыдней было двое.

– Или трое... Или четверо... Знаешь пословицу?

– Какую?

– Про страх, у коего глаза велики?

– Опять ты мне не веришь! – вспыхнул Антон.

Огарок последний раз плюнул искрой и потух. Флоренций потянулся к новой свечке, пощелкал кремнем, запалил. Антон не возражал. Ровный свет тронул сведенные брови на его красивом лице, скорбно сложенные губы, нервно подрагивающие пальцы.

– Я не могу верить в то, что плохо себе представляю. Давай сейчас ляжем спать, а поутру я поеду в Заусольское и все разведая наверняка. В самое дурное же позволь пока не поверить. Красть твоих лошадей смысла мало, даже вовсе оно нет. Их ведь не продать. Оно может означать следующее: либо не было кряжистого мужика на передке, либо не было тела позади. Думаю, Алевтина Васильна сейчас попивает чаек.

– А коли все так, как я говорю?

– Тогда злоумышленник норовил поквитаться именно с ней, с Алевтиной Васильной... Ладно. – Хозяин мастерской рассудил, что все недосказанное лучше перенести на утро и приготовился встать. – Я покамест принесу потихоньку каких-нибудь одеял, устроим тебя тут.

– Нет! Я один не смогу. погоди!

Это походило скорее на детский каприз, но Антон, по правде сказать, и являлся сущим ребенком: избалованный, без цели, без серьезного увлечения. Из двоих отпрысков Семена Севериныча и Аси Баторовны Александра казалась старше брата, хоть родилась на шесть лет позже него. Единственный сын – это плохо, совсем никудышнее дело, потому что некому по детству его лупить.

Флоренций попробовал вторично отправиться в дом за постелями, но снова был остановлен своим нервным ночным визитером.

– А если она и впрямь жива, то мне не избежать сватовства?

– Боюсь, не избежать. Но разве оно дурно? Разве ты не пребывал с нею счастливым? А теперь и ребеночек народится, все будет замечательно.

– Но батюшка... Он не простит, не дозволит...

– Поглядим. Тут я не в силах вспомоществовать.

– Все едино встанет вопрос, что я делал с ней наедине.

– Оный вопрос уже стоит, потому как кони твои и больше ничьи.

– А коли сказать, что Сашка позвала ее кататься, а потом одолжила Тине коляску добраться до дому?

– Не городи чушь, Антон. – Листратов начал закипать, тем паче уже пропели третьи петухи, непреодолимо клонило ко сну, так что слипались не глаза, а мозги. – Как оно – одолжила? По-твоему, все слепые и глухие? Тем паче Александра Семенна наверняка обреталась в оное время где-нибудь на виду. И сама идея твоя подлая, ты уж прости.

– Умоляю, лепший мой Флорка, не надо ругать... Ты не ругай меня! Я в безысходности! Моя жизнь окончена ничем, хуже, нежели ничем, – позором! Мне нужен дельный совет, а в том, что натворил по глупости делов, я и сам убежден не хуже твоего.

На протяжении всей этой ночи Антон без умолку болтал и не давал Флоренцию сосредоточиться, вдобавок убедил, что государева служба способна окончательно оглупить. Пожалуй, чем меньше давать веры его словам, тем лучше. Надо завтра все выяснить самому, а сейчас, пока еще не окончательно рассвело, все же умудриться поспать. Тихая робкая ночь безмятежно прилегла на карнизах, ее хотелось не тревожить, а уютно обнять и прикорнуть по соседству.

– Антон, – зевнул хозяин, – давай-ка укладываться, иначе завтра не останется сил ни на что.

– Но... но у тебя здесь неуместно... несподручно... а вдруг кто зайдет? – запротестовал тот. – Пожалуйста, оставайся со мной.

– Нет, друже, коли я тут останусь, то как пить дать меня придут искать с самого утра. Давай-ка уж лучше прокрадемся тихонько в опочивальню. У меня в гардеробной имеется софа, а дверь туда на замке.

Гость снова возроптал, но Флоренций его уже не слушал. Он покормил масляную лампадку огоньком свечи, после чего ту задул, вытолкал Антона через внутреннюю дверь в дом, тихонько провел в свои покои, засунул в гардеробную и снабдил периной, подушкой, одеялом. После всей этой постельной возни сам Листратов остался с простынкой на набивном тюфяке, поэтому укрылся поддевкой, а под голову сунул свернутый старенький камзол. Тем не менее оставшиеся несколько часов прошли в упоительном сне без приключений, и назойливые рассветные лучи застали его посапывающим и беспричинно улыбающимся.

Наступившее утро выдалось в усадьбе Донцовой избыточно хлопотливым. Еще до завтрака прискакал с запросом взъерошенный гонец из Заусольского, дескать, не обретается ли здесь молодой барчук Антон Семеныч. Приметливая Степанида решила не отвечать за хозяев и отправила посыльного к барыне. Зинаида Евграфовна всполошилась неуместности вопроса и стала дознавать, что же там стряслось у Семена Севериныча с его непутевым сынком. Так и вышло, что Флоренция еще на лестнице без предуведомления атаковали множеством коварных суждений, и ему едва удалось сохранить беззаботное выражение лица. Не могло идти и речи,

чтобы отнести Антону снеди или хотя бы чаю. Гонец был отправлен ни с чем, а художник, наскоро перекусив, собрался в Заусольское самолично выведать причины беспокойства. Впрочем, он уже предвидел, что слова ночного гостя заслуживали значительно больше веры, нежели им досталось в темной мастерской.

Глава 4

С высокой и заметно покривившейся колоколенки села Беловольского раздался долгожданный перезвон, высокий речной берег ухватился за него, осторожно потянул на себя и повел дальше под обрывом, не выпуская наружу. Селянам остался только ласковый перелив, всю же чугунную мощь съела Монастырка. Местный поп Феоктист знал эту особенность. Как бы ни трезвонил огуречноголовый пономарь Конон, все одно звук умирал раньше, нежели прихожане успевали снять шапки и перекреститься. С этим надлежало что-то делать, но помещик Захарий Митрофаныч Лихоцкий ввиду лихих же событий укатил в неизвестность, не оставив ни указаний, ни денег. Епархия тоже предпочла отмахнуться. Колоколенка тем временем все кренилась и кренилась, не приведи Господь – скоро совсем упадет. Сам же старый Феоктист не имел сил достучаться в нужные двери, поэтому только молился, резонно почитая занятие это важнейшим.

В губернских, да и вообще во всех имперских бумагах не наличествовало никакой Монастырки, река носила нерусское название, то есть в буквальном смысле – Нерусса. Такое не прижилось, не тот характер у тутошнего люда. Ее упорно продолжали величать Монастыркой по обосновавшейся на берегу Казанской Богородицкой Площанской пу-

стыни. Волнам же не было дела до имени, они капризничали, точили зубы о высокий берег, напрочь сгрызали мелкое камье и надкусывали крупные валуны, рычали, когда голодны, или вот так воровали колокольный звон у изнуренных полями православных.

До заката оставался еще приличный кусок небесного каравая, но крестьяне послушно начали складывать серпы и убирать в стога растрепанные снопы. Уже неделю стояли сухие безветренные погоды, и мужики спешили с жатвой. Этим годом Господь послал излишек дождей, посему не ожидалось полных закромов. Отец Феоктист ведал о том и загодя печалился необновленной колоколенке. По издавна заведенной привычке он вышел за погост, чтобы встретить свой приход на большой дороге, но вместо знакомых потных и шумных телег неожиданно лицезрел приближавшуюся из-за леса пару ретивых скакунов. Кони везли закрытую коляску. Батюшка пригляделся: передок пустовал, внутри с первого взгляда тоже никого. Он повернулся лицом к церкви и зычным голосом позвал служку Павла. Тот еще не вышел из отроческого возраста, отличался зорким глазом и ловкостью. Рыжий и конопатый Павлушка образовался снаружи вместе с Кононом, видать тот залюбопытничал. Бричка – а теперь уже стало возможно распознать в экипаже крытую бричку – приближалась ровной рысью, и востроглазый Павлушка определил масть: черные с белой полосой от лобной звездочки до хвоста – елизаровская порода, о коей много шушука-

лись окрест. Таких лошадей вошедший в азарт помещик из соседнего Заусольского никому не продавал и ни с кем не менялся, хотел сорвать крупный куш на столичной ярмарке.

За отсутствием барина уездным дворянам виделось мало нужды в Беловольском, они наведывались крайне редко, по-сему поп с пономарем заинтересовались. Сам Елизаров пожаловал – это событие нерядовое. Конечно, в бричке мог катить тамошний бурмистр, или кто-нибудь из слуг, или сынок, или дочка по своим девичьим надобностям вроде вышитых салфеток-скатертей, но все равно...

Отец Феоктист пригладил ладонью бороду, приосанился, но кони отчего-то сменили рысь на ходкий шаг и продолжали замедляться. В это время с другой стороны, из полей, потянулись-таки крестьянские телеги, сами мужики в пятнистых от пота посконных рубахах, их бабы с завязанными по глаза лицами, в простых, без шитья и пестроты одеждах. Впереди шел могучий Трифон, волосы он собрал в хвост, дочерна загорелые руки висели обухами. Рядом бежал его пес – гроза окрестных волков. За ними тянул молодого, не обученного еще мерина кривой Яков, по привычке напялив грешевник ниже положенного, чтобы прикрыть досаду с глазом. Ему помогал взрослый сын, такой же вислопечий, как отец. Мерин их не желал слушать – наверное, тосковал по утраченной радости соития с молодой и сочной кобылицей. Обычная картина вечернего села наложилась на необычную с елизаров-

ской двойкой. Вторая представлялась интереснее, но первая получалась ближе и загоразживала обзор. Пономарь с досады крикнул, а Павлушка потянулся вперед, чтобы первым рассмотреть, куда последует приезжий барин. В этот самый миг среди крестьянской гущи заверещала баба, ее визг подхватили еще несколько пронзительных голосов, и сразу же заохали басами мужские. Все шествие затормозило, заворочалось, меняя направление. Священник озадачился, но из боязни уронить сан остался на месте, Конон покосился на него и тоже замер, не умея скрыть на бледном лице греховного любопытства. Павлушка же, не чинясь, побежал к крестьянским подводам. Те уже всю двигались через клин, что раздваивал дорогу на проселочную и торную. Раз они посчитали нужным остановить двойку вместо того, чтобы снять шапки и поклониться проезжим господам, дело разворачивалось необычное и, следовало полагать, не вполне добронравное. Батюшка на всякий случай перекрестился и взял Конона за локоть, повелевая хоть и медленно, не теряя чинности, но все-таки двигаться в ту сторону. Яковлев сын уже запрыгнул на своего мерина и почесал наперерез, Трифон первым, как шел с поля, выбрался на середку большой дороги со своей телегой, перегородил. Ну точно: что-то приключалось прямо здесь! Наконец упряжка достигла скучившихся беловольских крестьян, завязла в них. Донеслись громкие возгласы, причитания и ошалелые матерки. Тут уже не пристало ма-нерничать, и отец Феокист с пономарем рванули со всей мо-

чи.

Они добрались минут через десять или пять, но этого времени хватило, чтобы одинокие вскрики превратились в тучный вой. Перед приходским священником раздвинулись просоленные и пропеченные зноем спины, обнаженные головы, испуганно прижатые к груди руки. Он очутился перед конскими мордами. Те скалили замечательно крепкие крупные зубы, трясли смоляными гривами, беспокойно всхрапывали, словно прося у людей помощи. Батюшка прошел дальше, вдоль нервно дрожащих боков. Бричка не представляла ровно никакого интереса ни снаружи, ни изнутри – пустая и черная, как неудача. А вот за ней волочилась какая-то бесформенная морока, скрученная, казалось, из грязного тряпья и порыжевшей травы.

Первой безопасной догадкой слабого глазами отца Феоктиста стала коряга – подцепили, а освободиться не могут. Но тогда не вопили бы оглашенные бабы и не крестились бы хмурые мужики. Священник подошел поближе, откуда-то выскочил утиравший нос Павлушка, схватил батюшку за рукав, провел ближе, к самому как ни есть недоразумению. Сбоку двигался кто-то еще, какая-то знакомая девка, она неожиданно завопила благим матом. Поп склонился и тоже вскрикнул.



То, что он с подслепа возжелал принять за опутанную рваниной корягу, вырисовалось не чем иным, как женским телом. Судя по остаткам одеяния, не из простых. В окровавленных волосах мелькали репы, нос расплющился, глаза забились дорожной пылью. Голова походила на мертвую, зачахшую в неводе рыбину, что билась, билась, да и покори-лась судьбе, истратив силы.

Сразу же открылась и причина беды: когда несчастная ба-рышня устремилась наружу, широкая юбка ее зацепилась за дверцу, и тут же сорвался с привязи аркан, метнулся в ноги, запутал, а кони с чего-то понесли. Тот злополучный аркан висел на прибитом к стойке крючке, вроде ему не должно кидаться в колени седокам и стреножить их. Между тем...

Темно-синее господское платье запылилось, изорвалось, из дыр торчало кровавое мясо. Злую шутку сыграл со своей хозяйкой и корсет: полосы китового уса впились острыми стрелами в тело. Одна прошила насквозь бедро – отменно стройное и соблазнительное, вторая впилась в живот, разво-ротив его до кишок.

– Батюшки-светы! – голосила Трофимова баба Аксинья, полногрудая, вечно на сносях, но притом с ядреными све-кольными щеками и блестящими умными глазками люби-тельницы посудачить.

– Ох уж Русь-матушка – на соленое не скупится.

– Грехи наши тяжкие!

– И-и-и-и! Матушка-заступница!

Всхлипы, вой, бессвязный клекот, даже лошадиные всхрапы – все смешалось и загустело, предзакатное солнце поддало жару. Отец Феоктист снова заглянул в бричку, недоумевая, где же сам барин. Та безнадежно пустовала, кожаный верх держали упрямые, нисколечко не погнутые и не удрученные годами спицы. На полу валялся истоптанный кружевной платок, соломинки, пожухлый ивовый хвостик. Сиденья покрывала пятнистая коровья шкура, по летнему времени – самое то из-за малой ее ворсистости, понеже на густой овечьей и вопресть немудрено. Не наблюдалось ни ридикюля, ни узелка с провизией, ни ранца – ровным счетом ничего. Батюшка снова вернулся к бездвижному телу, нагнулся, потрогал зачем-то аркан. Тот увяз прочно, впился в колени своей жертвы, как голодный пес в кусок мяса.

– Да жива ли она? – испуганно пролепетал Павлуша.

– Где там жива, преставилась. – Чья-то тяжелая рука отвесила службе беззлобный подзатыльник.

Солнце приготовилось нырнуть в свое логово за темными верхушками, окрасило окрестности алым. В его лучах растерзанная плоть барышни раскровянилась, смотреть на нее стало еще жутче. Следовало прибираться. Поп кивнул, очередной раз пробормотал что-то из молитвослова. Со стороны села поодиночке и кучками сбегались остальные крестьяне, всем требовалось встретиться с лихом глаза в глаза.

– Ишо недоставало нам, – тяжело вздохнул Яков и велел

сыну стреножить скакунов, отцеплять покойницу, укладывать на подводу и везти к земскому старшине. Оттуда уже затемно послали в уезд за властями, но тех не ждали ранее завтрашнего дня, потому тело отправили на ледник к богатому мельнику Власу, а елизаровских коней до поры до времени оставил у себя в конюшне кривой, но притом зажиточный Яков.

На этом для крестьян села Беловольского история сия закончилась, а для капитан-исправника Трубежского уезда Орловской губернии Кирилла Потапыча Шуляпина – началась.

* * *

На всех бесконечных просторах Российской империи трудно сыскать столь же дальновидных государственных мужей, как председатель земского суда господин Поддубяко Викентий Сомыч, иже с ним Мержатов Николай Николаич, Тупольский Егор Изяславич и другие заседатели. Им повезло придумать беспроегрышную комбинацию, поселив капитан-исправника в разделенном на две неравные части казенном доме. Первая – служба: приемная, кабинет с беззаконным закутком для шептунов, тусклая каптерка для десятских. Вторая – жилье: гостиная, столовая, опочивальни, гардеробные, гостевые. Это строение досталось земству как выморочное после разорившегося барина-болтуна. Тот промотал весь капитал и остался на старости лет с одним домом в

Трубеже. Не располагая великими площадями, земский суд постановил отделить от своего тела полицейскую управу, а заодно и угнездить капитан-исправника. До того семейство кочевало по казармам, своим углом обзавестись не удавалось, и жизнь представлялась в некоторой степени беспроектной. В новой же любопытной диспозиции выигрывали обе стороны: Кирилл Потапыч наделялся бесплатной крышей, но и служить ему приходилось на совесть, земские же чины перекладывали на его голову весь правопорядок целиком. Будет скверно блюсти должность – лишится крова. В подобных обстоятельствах ни один порядочный отец семейства не станет манкировать долгом.

Казенная часть не манила уютом и не удивляла убранством. На шершавой, много повидавшей поверхности рабочего стола жили в согласии простой чернильный прибор без загогулин, деревянный пенал с заточенными гусиными перьями, часослов под вышитым шелковым ликом пречистого архангела Михаила, жидкая стопка листов, трехглавый подсвечник, и более ничего. Столешница представала гладким прудом с хижинами по окоему, но вовсе без лодок. Чистоте служебного места должноствовало являть собой порядок и в делах, потому исправница Анна Мартемьянна – полная синеглазая луна с ямочками на щеках – блюла ее со всем усердием. В юности она сияла тоненьким очаровательным полумесяцем, но, как и положено, со временем приросла телесами. Лицо ее в любой час матово мерцало, будто сдобренное

густыми свежими сливками, крупный рот уравнивался маленьким и мягоньким подбородком, пепельные кудри воланами лезли из-под чепца, кружа душистым облачком вокруг невысокого чистого лба.

Опять же Анна Мартемьянна при такой хитрой диспозиции имела возможность регулярно инспектировать служебную половину. Она ежедневно заявлялась с девкой Палашкой, а та – с водой и тряпками. Исправница смотрела с прищуром и нередко кривила пухлую розовую губку, девка терла подоконники и мебели, а на полу покачивалось полное ведро, обнаруживая досадную кривизну половиц. Помимо стола в комнате помещались шкаф с глухими дверцами на замочке, две разнородные тумбочки, два напольных ступенчатых канделябра по углам, герань и бальзамин в глиняных горшках.

Приватная же часть походила на заботливо обихоженную норку волшебницы средней руки: невеликие комнаты, на креслах вышитые накидки, на кроватях башенки из подушек, на стенах бархатные медальоны, на тумбочках резные салфетки, на окнах многослойные фестоны. В целом же – первостатейное провинциальное очарование.

Выйдя за небогатого безземельного дворянина Шуляпина, Анна Мартемьянна бесперебойно изыскивала способы прикрыть скудость средств. Так она увлеклась разведением комнатных растений, причем добилась весьма значимых успехов. Где ветшала стенная обивка, приходили на помощь

фикусы и драцены. В гостиной стояли три или четыре деревянные кадки с апельсинами и лимонами – настоящая оранжерея. Зелень отменно скрашивала неприхотливый быт и даже вызывала зависть у господ побогаче. Прочих прелестей в комнатах не наблюдалось, разве что безукоризненная чистота. Родительские будни скрашивала главным образом любимая единственная доченька Анастасия Кирилловна.

Сам капитан-исправник отдавал должное супруге и почитал свою семью образцовой. По молодости он тщился добиться славы и денег, но с годами понял, что доблесть и честность вознаграждались по-царски в одних лишь сказках. Бог миловал обойтись без увечий в польских войнах и походе армий второй коалиции на Наполеона. В третью он уж не подался – написал прошение об отставке и поселился в родном Трубеже. Внешне Кирилл Потапыч отнюдь не являл собой грозного витязя: приземист, пухловат, паче того добродушен и прост лицом. Щечки его забавно круглились, словно за каждой припрятано по спелому ранету. Пшеничные усы не рассекали лицо кинжалом и не свисали унылой паклей: они цвели добропорядочными одуванчиками по обе стороны румяно-персикового лица. Возможно, оттого и взгляд его не колол и не сверлил, а любовно оглаживал. Это касалось и нарушивших закон либо подозреваемых в злоумышлении, и простых наблюдателей, сиречь свидетелей, и приятелей из земского суда. По сей причине никто и никогда не мог утверждать, что именно на уме у капитан-исправника, в самом ли

деле он занят поимкой одних лишь уездных мышей или готовит изощренную каверзу настоящему преступнику.

Дождливым летом 1810-го от Рождества Христова и Кирилл Потапыч, и Анна Мартемьянна пребывали обеспокоены одним и тем же: как бы посчастливее выдать замуж Настюшу. Не пристроить поудачней, не за высокородного, а именно что посчастливее, дабы все как у батюшки с матушкой – ладком, рядком, с дружеской сердечностью, с пониманием, и в пиру, и в миру, и в горе, и в радости. Оно ведь как: за богатым жена что вещица – совета у нее не спросят, завистники кусают при любом случае, родня ни в грош не ставит. Чтобы терпеть да огрызаться, нужен гранитный либо кованный в кузне характер, слезы доверять только подушке, а на публике скалиться во все зубы, выдавая то за улыбку. У Настеньки же нрав мягок, вся нежная душа написана на личике. Ей бы любви полный черпак.

Впрочем, не всегда исправник с исправницей рассуждали столь похвально, это прилипло к ним в последний месяц, вернее, с той поры, как в Полынном поселился возвернувшийся из фряжеских земель ваятель Флоренций Аникеич Листратов. Мысль такую навеяла наученная сваха Леокадия Севастьянна – особа в высшей степени просвещенная, с подходцем. Она разложила карты, что пасьянс из одних козырей – все сошлось! Дескать, образование у него самое что ни на есть замечательное и сам пригож. А талантливый дорога и в сановный Санкт-Петербург, и в Москву, и вообще

езде, быть им принятым при дворе и обласканным, ходить в шелках и горя не знать. Ну и на всякий случай: у помещицы Донцовой нет наследников, она-де не обидит воспитанника. И родня-де ее, Корсаковы с Елизаровыми, и соседи со всех сторон почитают Флоренция ровней, хоть он из мещан. Все это пелось ладно, без фальши, так что Анна Мартемьянна (она вместе со всеми уездными дамами сделалась пристрастницей учения Леокадии Севастьянны), зажглась сама и склонила супруга в сторону непризнанного пока художника Листратова. Кирилл же Потапыч ценил в том умоискательность и прозорливость – редкие по нынешним временам качества. Не то чтобы на горизонте не наблюдалось иных женихов, но больно уж складно, с изошренной доказательностью плелись уговоры. Правда, наученная сваха обещала устроить все самолично, что означало привести купцов в уставленную кадрами гостиную Шуляпиных. С этим возникли сложности.

Аккурат в то время, когда надлежало влюбить Листратова в барышню и поселить в его душе необоримую тягу сделать признание, со свахой сотворилось невообразимое, вылившееся в трагедию. Нынче она пребывала не здесь и по этой причине не могла исполнить обещанного. Светлые же, разумные ее идеи продолжали жить в каждой усадьбе, на каждой улице. И вот еще незадача: воодушевленная Настенька уж всерьез поверила, что в скором времени ей предстоит стать госпожой Листратовой, захлеб обсуждать с супругом его грандиозные – паче того, монаршьи! – заказы, обставлять с изы-

ществом дом, выбирать дорогие безделушки в парижских салонах и прочая-прочая... Ах! Девичьи сердца так хрупки, лилейно-беспорочны и наивны, их так легко полонить и так непросто высвободить! Одним словом, Анастасия Кирилловна видела во Флоренции грядущего спутника жизни, и никак иначе.

Анна Мартемьянна была отличной супругой, но не вполне здравомыслящей матерью. Она не умела приструнить единственную дочку ни в малолетстве, когда та не желала носить косынку на толстеньких пушистых косах, ни теперь, в девичестве. Посему маменька постановила: раз Настюше угодно связать судьбу со златоглавым и кареглазым Флоренцием, все должно сложиться именно таким образом. Иначе ее душеньке, звездочке, ангелочку придется страдать. Ведь учение о счастливых супружествах зиждется не на одних свахиных словах – наоборот, эти слова проистекают из многих наблюдений. Раз так, то Анастасия Шуляпина и ваятель Листратов созданы друг для друга самим Господом нашим, да святится имя Его! Они сходны вкусами, характерами, устремлениями, ей суждено стать ему опорой, а ему при ее поддержке выбиться в знаменитости.

На веранде между казенной и жилой частями дома капитан-исправника все это звучало весьма и весьма недурно, особенно если учесть, что главными слушателями являлись все те же кадки с растениями, которые госпожа Шуляпина выносила по теплomu времени наружу подышать настоящей

жизнью. Осталось только дожидаться сватов, а лучше того – убедить Флоренция поспешить с объяснением.

Кроме забот об устройстве дочки Кирилл Потапыч тяготился двумя вещами. Первая заключалась в злокознях новопосаженной яблоньки. Вторая – в хитроумных, по всей очевидности ведьмовских, деяниях на берегу Монастырки вблизи села Малаховки. Притом сам полицейский голова никакого колдовства не признавал и нещадно порицал легковерных. Оно ведь как: допусти существование волшебного злодея – хоть Бабы-яги, хоть самого Змея Горыныча, – так на него сразу же спишут все беды – от смертоубийства до неурожая. Зачем же тогда власти? Нет, эта стезя вела в дремучести похлеще здешних лесов. Просвещенному народу надлежало следовать иной тропой.

Дела же обстояли в высшей степени загадочно. Прошлым годом, примерно летом или уже после Ильина дня, томная барышня Глафира Сергевна Полунина зачем-то отправилась на бережок со своей подслеповатой няней. Точнее, вовсе невидящей, проглядевшей от старости все глаза. Но девице на то начихать, ей желалось сочинять стихи и непременно в уединении, на природе, с глазу на глаз с непослушным течением и травным шебуршанием. Как водится, ближе к центру села травы шебуршат не в пример хуже, нежели с краешку, чем дальше от людей, тем они залихватистей, аж за душу берут. К тому же Глафира Сергевна зачем-то вдела в уши дорожные матушкины серьги, а на шею повесила дра-

гоценную подвеску в тон: рубиновую каплю. Причины ее поступка остались сокрытыми, не иначе как украшения делали травы слышнее, а стихи благозвучнее. Так или иначе, она вернулась домой спустя два или три часа, поддерживаемая слепой старухой. Улыбка гуляла по лицу блудливой кошкой, серьги кроваво краснели и даже добавляли румянца щекам, а подвески не сыскалось. Как так? Цепочка золотая надевалась через голову, без замочка, что не позволяло ей расстегнуться. Порваться бы вроде тоже не с чего, потому как редко носимая и бережно хранимая вещь, однако порвалась. И самое главное – ну просто беда бедовая! – Глафира Сергевна запомнила попросить матушкиного согласия вырядиться на свидание с Монастыркой как на бал к губернатору.

Обнаружив сию ужасающую недостачу в гардеробе, барышня едва не лишилась рассудка. Сначала она кинулась в рев и заламывание белых ручек, потом опомнилась, побежала назад к травам, одна, ополоумевшая, растрепанная, как простая девка. Тот вояж ее проходил аккуратно по берегу, ни шагу в чужой двор, чтобы не испортить поэтического настроения грубыми подробностями, или в лес, чтобы не испачкать туфельки.

Окончанием маршрута служила лодочная пристань, куда давно уже не наведывались рыбаки. Они перешептывались, что подле завелись мавки или иная нечисть, кто-то воду мутит, рыбу отводит – одним словом, нечего там делать. Между тем пристань являла собой самое идиллическое место во

всей шумной и торовастой Малаховке. Мосток ее составляли не доски, но бревнышки, со временем потерявшие кору, выдубленные и отполированные волнами. Они темнели под ногами гнедыми спинами, пахли вьевшейся речной сыростью – богатой, не избяной. Неподалеку на берегу росла обильная косами ива, тоже старая, пышногрудая. Ее руки держали причал с двух сторон наподобие праздничных ворот. Пройдешь под аркой – и будто попал к русалкам в гости. У самой водяной кромки золотился необыкновенно мелкий и нежный песочек, на камнях, что грудились вокруг опор, разросся изумрудный мох. Монастырка тут расширялась, и течение пряталось под волнами. Темно-синяя густая непорочность лежала послушной самкой, а мосток вроде лизал ее бессовестным темным языком. В том месте пребывала некая первородность, и создавали ее не по случаю, но с умыслом. В таких пасторалях только объясняться в неземной любви и слагать вирши – земным хлопотам туда соваться незачем. И вот ведь любопытно: лодки давно уж обходили причал стороной, а он все не ветшал, не заваливался, гниль его не брала, стоял себе как картинка для чьей-нибудь сказки.

Однако Глафире Сергевне в тот проклятуший день оказалось вовсе не до красот. Вернее, в первый раз как раз таки до них, а во второй – увы. Ей помнилось, что на мостке подвеска еще щекотала ее бледную шейку, после же нахлынуло вдохновение, барышня уже посвятила ему себя целиком, так и посеяла драгоценность. Вернувшись к злополучной по-

зиции, она высматривала, едва не вынюхивала до исподней сущности каждый кусочек помоста, каждое бревнышко, одетые мхом камни внизу, даже дно реки, золотистый песочек – все тщетно. Вроде красному на синем да зеленом должно полыхать пламенем, а все одно не сыскалось.

Разбитая неудачей Глафира Сергевна не нашла в себе сил признаться во всем как есть. Она сочинила небылицу, дескать, напали злодеи, сорвали с груди алую каплю и подевались в никуда. Правда, при том присутствовала нянька, и барышне стоило немалых усердий убедить ее поддакивать. Впрочем, история и без того звучала в высшей степени несостоятельно, так что матушка и не помышляла ей верить. Госпожа Полунина крепко-накрепко отругала дочь, обозвала ее словами, какими постеснялась бы крыть челядь, посадила на хлеб и воду, не глядя, что в хороших домах такие крайности по нынешним просвещенным временам стали моветоном. Она бы и побила, да не умела, звать же девок для такого неплезирного дела – лучше сразу в омут без духовной грамоты. Тем не менее, поостыв и взвесив все разом, барыня обратилась к капитан-исправнику с жалобой, мол, так и так, под вашей рукой лиходеи нападают на честных девиц, похищают драгоценные предметы, так и до обесчещения, и до самого лишения жизни недалеко.

Кирилл Потапыч принял трагедию близко к сердцу, потому что редко имел жалобы от неподатного сословья за исключением сетований на беглых крестьян. Поднять руку на

барышню – это не копну сена у соседа слямзить. Он завел положенную процедуру, опросил ближних и дальних жителей Малаховки, самолично посетил треклятый мосток, ничего не нашел и спрятал нетолстую кипу исписанных страниц в свой шкаф под замок. Кроме того, они с Анной Мартемьянной имели повод пообсуждать происшествие за чаем.

А после жатвы нечто наподобие приключилось вдругорядь: лавочница Любавка выгуливала вдоль бережка свою непоседливость. Она уродилась разбитной, свеклощечкой, приземистой и ухватистой – одним словом, палец в рот не клади. Одевалась при этом всегда опрятно, даже богато, и походила на разъевшуюся белочку с распушенным хвостом. Прожитые годы сделали бабенку умелицей запихивать мужей под каблук, а после и спроваживать на тот свет – уж третьего схоронила! Лавка ей досталась от первого, второй же не скупясь в нее вложился, так что вдове не приходилось особо тужить. По всей вероятности, Любавка отправилась на мосток сводить с ума четвертого, не иначе. Неизвестно, спешествовала ли ей удача в сем непростом начинании, но на шее у вдовушки плескалось изрядное украшение. Правда, серебро, не золото, зато с прелестными малахитами, и не с одним, а с целой россыпью. Господь наградил лавочницу удивительными зелеными глазами, и камни необыкновенно ей шли. Вернулась она голошей, и опять же не сразу это заметила.

Любавка тоже прибежала к господину Шуляпину с жало-

бой, но не стала придумывать никаких разбойников. Сразу заявила:

– Ваш высокоблагородь, тама нечисть.

– Что? – опешил капитан-исправник.

– То! Цаца моя – ту! Что твоя гирька али похлеще аще!

Евоную ни в жисть бы не прошляпить. Коли прошляпила, то бес наворожил.

– Погоди, тьфу-ты ну-ты! – Кирилл Потапыч на дух не выносил не только ведьмачества, но и бесовщины, понеже от Сатаны и его приспешников все одно нет спаса.

– Уж некуда годить! – голосила тем временем Любавка. – Прогодила уж цацу, родненькую мою ж. Ты поди, ваш благородь, напужай тама. Пушай вернут.

«Вот ведь какая, – с досадой подумал Кирилл Потапыч, – сама верит в колдовскую страсть, сама же требует ее обуздать. Все людишки таковы. С этой стороны – дремучее мракобесие, а с той – неизбывная вера в просвещенную власть и законный уклад. Как, по ее разумению, должен я приструнить ведьм и бесов? Огнем ли на них идти либо святой водицей?»

– Ты вот что, бабонька моя, перестань причитать да возьмишь за ум. Не было ли там лихих людей, кто уговорами, паче того, угрозами изъял твою ценность?

– Ништо! Вот те крест! Ни единой души окрест, хоть железом каленым жги!

Тут Любавка тоже явно лукавила: если ни с кем не наме-

чалось свидания, зачем бы ей вообще туда соваться? Шуляпин для вида записал ее глупости и забыл. Ну случайное совпадение, мало ли...

Однако уже через неделю к нему повадились: то тяжелая кузнецова дочь пошла по грибы со сватьей, почуяла томление и уединилась на пристани, дабы прийти в себя. У нее пропал оправленный в серебро волчий клык – суровый оберег. До того, как оказалось, еще по весне, бабы то ли хороносили, то ли ворожили да зашли на мосток набрать водицы для каких-то недобропорядочных сует. Трое из них вернулись без нашейных украшений: одна посеяла монетку с проколотым брюшком, вторая – простые деревянные бусики под лаком, третья – костяную рыбку на шелковом шнурке. Все эти истории складывались в чепуху. Ну кому придет в голову зариться на деревянную дрянь? Притом у всех имелись нательные кресты: у двух – чистого олова и у Глафиры Сергевны, само собой, благородного металла. Между тем никто крестов не лишился. Потом, уже перед снегом, донесли, что и пологая бабка Исаковна обронила на пристани повязанное на шею венчальное колечко, вроде золотое, хотя откуда у ней золото! И еще, и еще... Легенды сбивались в крепкие скелеты, обрастали мясом, надевали пестрые одежки. Вот уже и предводителевы дочери будто бы остались на том месте без янтарей и жемчугов, и премудрая Мария Порфирьевна вернулась без сапфировой ягодки на изумрудной ножке. Казалось, что весь уезд шествует туда стройными рядами, как на

всенощную, притом делать-то там и нечего.

Кирилл Потапыч махнул рукой, к вящему своему удовольствию. Он вообще любил оставлять пустое на произвол, оно там усмиралось скорее, нежели хлопотами. Наступила зима, Монастырка оборонилась от оговоров ледяным доспехом, дамское сословье обуздало стремление к ворожбе, травам и стихосложению. Все бы ничего, да с половодьем снова повадились смуты: у мельничихи развязалась тесьма и спал с шеи медальон – ценная, памятная вещица об усопшей барыне, что взяла ее в дом девочкой-сиротой, выходила едва не саморучно. Опять же нательный крестик остался цел. Мельничиха показывала без суесловия, что тесемка именно развязалась. Будучи тряпичной, она не соскользнула под ноги, а зацепилась за подол. До того же сорок годков узелки держались нерушимы, тесьмы протирались, но не развязывались. И еще одна, истопникова баба, прибежала с потерей. У нее распался на части кожаный снурок, вроде истлел, хотя и новехонький, едва с минувшей зимы. На нем болталась безделица – крохотная, опять же кожаная котомочка с первыми волосиками дитяти. Не то чтобы истопничиха просила сыскать да вернуть, просто тыкала в доказательство обжития мостка нечистью. И еще две – болтушка Баженка и толстенная неповоротливая Серафимка – посеяли что-то ненужное и несуразное, носимое бережно на шейках. Они не жаловались, это уже молва донесла. И в который раз Господь сберег священный символ свой.

Вся эта нелепица больно напоминала бесовщину, как бы ни отмахивался от нее добродушный Кирилл Потапыч.

Среди уездных девок прошел слухок, де лучше бы не дразнить зло и позабыть дорожку на старую пристань. Оно и разумно, да вот беда: девки девками, а спесивые барыни – своим умишком. В начале лета, выбрав нечастый просвет меж дождей, на богомолье прибыли тетки помещика Слуцкого. Им, само собой, захотелось полюбоваться рекой, а в этом случае никак не обходилось без помоста за ивовыми воротами. Они и пошли туда. На обратном пути обнаружилась пропажа: бирюзовое ожерелье в золоте и еще что-то. Каждая оставила дань. Происшествие всколыхнуло уезд с новой силой, и теперь уже предстояло непременно разбираться.

Пока суть да дело, к Анне Мартемьянне приехали погостить сестра Елена с племянником Володей – совсем молоденьким беловолосым офицериком из тех, кто никого не слушает. Елена Мартемьянна нравом обладала пылким, к тому же любопытничала до всякой новизны. Она с утра до вечера колесила по уезду, будто специально искала приключений. И набрела-таки на них! Не будучи предупреждена про поселившиеся в Малаховке необычности, она посетила известный монастырь, оставила мзду, а после пошла прогуляться берегом реки. Там, конечно, заметила чудесный мостик, ступила на него, а обратно вернулась уже без жемчужной нитки. Услышав о горе, добросердечная Настюшка всплеснула руками и спросила:

– Разве вы, тетушка, не слыхали, что на той пристани все теряют какую-нибудь ценность?

– Как? – вылупилась на нее Елена Мартемьянна. – Разумеется, я ни сном ни духом. А разве трудным вам представлялось оберечь меня?

Так в доме Шуляпиных поселился скандал. Володенька безуспешно исследовал берег и сам помост, но в итоге только перепачкался. Анна Мартемьянна готовила сестре примочки от мигрени, Кирилл Потапыч хмурился, предвидя объяснение, и не ошибся. Свояченица устроила ему жаркую парную:

– Вы отчего же, дорогой зятюшка, не пресекаете подобные непотребства? Разве достойно отворачиваться, паче того – закрывать глаза, когда окрест шалит нечисть либо колдунья какая пользуется полновластием? Непременно надо ее призвать к ответу. – Она сводила к переносице брови – точь-в-точь такие, как у любезной его супруги, – подливала злого негодования в синие глаза, тревожно барабанила пальцами по рукоятке кресла.

– Помилуйте, сударыня моя, что же вы мне предлагаете? Отписать в епархию? Да меня же засмеют!

– Отнюдь. Никуда не следует отписывать. Коли так все запущено, надо просто разобрать тот помост на бревнышки, спалить в печках.

– Последуй я вашему совету, все станут говорить, что капитан-исправник испугался чертей.

– Не чертей, а мавок, папенька, – встряла Анастасия Ки-

рилловна.

– Полноте! Не стану я подпевать мракобесию, даже не просите.

– Отчего же мракобесию? – Елена Мартемьянна хищно раздула ноздри, и в этот самый миг куда-то пропало их сходство с сестрой. – Вверенные вашим попечениям люди теряют самые ценности, самые заветные вещи, притом под рукой нечистого. Кому, как не вам, приструнить, отбить охоту к шалостям? А заодно и вернуть мои прелестные жемчуга и пропажи прочих пейзажей?

Кирилл Потапыч с тоской подумал, что лучше бы Глафире Полуниной оказаться правой, пусть бы разбойники, а не это безобразие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.